

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ

СКАЗКИ

Гор

и Лесов



Сказки гор и лесов //ООО «Остеон-Пресс», 2015

ISBN: 978-5-85689-090-6

FB2: Александр Амфитеатров, 17.7.2015, version 1.0

UUID: 2229e482-351b-11e5-93a0-0025905a0812

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Валентинович Амфитеатров

Сказки гор и лесов

Предлагаем вниманию читателя сборник сказок русского довоенного писателя Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862–1938). Он начал печататься с 1882-г. в юмористических журналах «Будильник» и «Осколки», где познакомился с А.Чеховым. В 1891–1899 был сотрудником газеты А.С.Суворина «Новое время», вышел из редакции. До революции Амфитеатров не раз подвергался преследованиям за свое критическое отношение к самодержавию. С 1904 по 1916 Амфитеатров, исключая его поездку на театр русско-японской войны, жил в эмиграции, так как в России ему была запрещена литературная деятельность. Издавал в Париже журнал «Красное знамя» (1906–1907), в Италии близко сошелся с М.Горьким, который впоследствии стал одной из основных мишеней его обличительной публицистики в связи с позицией, занятой «буревестником революции» после октябрьской революции. По возвращении в Петроград вновь преследовался за цикл Этюды, содержащий нападки на министра внутренних дел последнего царского правительства, был сослан в Иркутск и вернулся в столицу после февральских событий 1917. К тому времени многочислен-

ные романы, пьесы, очерки, памфлеты принесли Амфитеатрову широкую известность, его называли «русским Золя». Четыре послеоктябрьских года Амфитеатров прожил в Петрограде, откуда 23 августа 1921 бежал с семьей в Финляндию. Отвергая иллюзии тех, кто сулил большевикам скорое падение, Амфитеатров доказывал, что этот режим, означающий «позорное мелочное рабство закабаленных масс», воцарился надолго и что, помимо многого другого, он сулит перспективу дегенерации русской культуры. Его немногочисленные сказки рисуют перед нами верования Европы и Кавказа, раскрывают мистические и реалистические черты в жизни различных народов.

Содержание

От автора	0006
Предисловие	0008
О том, как граф женился	0011
Болотная царица	0017
Черный всадник	0026
Золотая Планета	0060
Дубовичи	0067
Ветла	0080
Светлый праздник	0091
Средневековые тени	0096
Закавказские сказания	0120
В царстве снов	0187

Александр Амфитеатров

Сказки гор и лесов

От автора

Я не был бы «восьмидесятником», если бы не посвятил нескольких лет своей молодости изучению фольклора и сравнительной мифологии, если бы не дилетантствовал в свое время по части сравнительного языковедения, если бы не стремился написать диссертацию о «Русалиях» и т. д. Кто знаком с моей книжкой «Старое в новом» (СПб. «Общественная Польза», 3-е издание, 1907 г.) тот видел там некоторые результаты и осколки этого, довольно продолжительного, моего увлечения. Оно держалось тем прочнее, что много было житейского материала к нему. Моя беспокойная, пестрая жизнь проходила международно, бросая меня из страны в страну, от племени к племени; я годами жил в нижних наддонных слоях цивилизации, где еще не замерли отголоски средневековых колоколов и не вовсе расточились черные демонические тени. Основы легенд, включенных в этот сборник, слышаны и записаны мною в разных моих скитаниях по белому свету; лишь немногое обработано по книжному материа-

ду. Интересовали меня, преимущественно, те народные верования и предания, в которых звучат пантеистические и гуманистические ноты. Много в материале этом казалось мне красивым, иногда и глубоким; когда я печатал некоторые легенды, публика и критика принимали их с любопытством и сочувствием. Так, например, много читались «Мертвые боги», «Черный всадник» легенды горной Грузии, «Царевна Аделюц» и др. Думаю, что поэтому не будет лишним собрать во едино эти наброски, раскиданные по журналам, из которых многие давно уже смертью умерли, и по отдельным изданиям, давно исчезнувшим из продажи.

Александр Амфитеатров
Cavi di Lavagna. 1907. XI. 12.

Предисловие

Мне попался у букиниста сборник фламандских легенд (Henri Berthoud), давно уже ставший библиографической редкостью. Средневековая Фландрия – страна чудес по преимуществу, чудес мрачных и жестоких. На её сказаниях отразились её туманная атмосфера, её холодный и суровый пейзаж. В пламенном климате Андалузии, среди виноградников, не требуя обильного питания и довольствуясь тем природным плодородием, что дает сама земля, крестьянин создал веселые, сладострастные сегедильи[1]. Лазурное небо и нежное море Италии отразились, как в зеркале, в любовных канцонеттах[2] крестьян Тосканы и Сицилии, в баркаролах[3] венецианских гондольеров, в живых речитативах и нежных серенадах Неаполя. Но во Фландрии искони все угрюмо, однообразно, просто и скудно. Куда глаз хватит, стелются болота, долины, да поля богатой культуры, но совсем не живописные. Человек здесь заострен в бою с природою, которая вознаграждает его труд только после упорной борьбы. Суеверный, но

крепкий нервами, фламандский крестьянин нуждается в фантастических представлениях совсем иного сорта, чем дети светлого Юга. Как все северные католики, он любит сказки с ужасами и населил ими все урочища своей страны. Быть может, не было в средние века края в Европе, более населенного всякою чертовщиною, чем Фландрия. Даже её современное фабричное население далеко не так плотно и густо, как, во время оно, кишели её деревни «воздушным народцем», вылетающим из бесчисленных легенд, поверий и преданий.

Многие из последних показались мне интересными и новыми, т. е. я не встречал их на русском языке. Сперва я хотел просто перевести доставленную мне книгу, но, приступив к работе, увидал, что игра не стоит свеч. Огромное большинство легенд в ней немилосердно – как говорится – размазано и передано с несносною слащавостью, с претензиями «облитературить» грубый, первобытный памятник. Это – недостаток, вообще, свойственный французам в их отношениях к старине: им все как будто хочется высечь из друидическо-

го камня игривую статуэтку на письменный стол. Поэтому, бросив мысль о переводе, я решил, освободив наиболее интересные легенды от искусственного пафоса, рассказать их русскому читателю от себя. Разумеется, я пользовался при этом каждой блестящей первобытного золота, какую мог заметить под скучным риторическим наносом бездарного сборника. Блесток этих было, впрочем, очень мало. Достаточно сказать, что основного, действительно народного материала из легенды, размазанной в сборнике Verthoud на 60 страниц, мне едва хватало на 100–200 строк.

Главный герой фламандской легенды – чёрт, угрюмый католический чёрт, который доставил столько хлопот инквизиторам Спренглеру и Бодэну. Им полны фламандские туманы... Они – как будто его дыхание. Он стережет фламандца повсюду, во всякий час, следит за ним, невидимый, но зоркий, и когда пробьет «злой час» – он уже тут как тут, со своими ужасными вилами.

О том, как граф женился

Баллада XI века

*«Фландрия, в бой!» —
Все за тобой!
«Кони легки,
Латы крепки:
Дружно держись!
Враг, берегись
Графа Балдуина Железной Руки!»*

*Фландрия, в бой!—
Вот он, какой
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.*

*Вражья орда
Сплочена густо:
Все будет пусто,
Чуть граф – туда.
Чёрт ему брат!
Вражьих солдат,
Словно капусту,
В чёт и нечёт,
Так и сечёт.
Где меч его грянет, —
Там улица станет!*

Фландрия, в бой!
Вот он какой —
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

Пред огоньком
На бивуаке
Выпьют служаки:
Речи о ком?
Чьи они считают битвы?
За кого творят молитвы?
За кого стоят горой?
Граф – герой!..

Фландрия, в бой!
Вот он какой —
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

Тра-та-та! – рог:
Сбор всем дружинам.
Граф исполином
Встал на порог.
– Братцы... того...
Фландрия наша —
Полная чаша.
Нет одного!
Хоть рыцарь я, но грешник сла-

бый,
А не монах и не святой:
Обзавестись пора мне бабой,
Гулял довольно холостой.

Фландрия, в бой!
Вот он какой —
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

Войско в ответ
Речью нестройной:
— Тебя достойной
Невесты нет!
Всех ты храбрее,
Всех ты добрее, —
Где же нам феи
Тебе под стать
Будет достать?!

— Врете вы, черти!
Этак до смерти
Что ли мне быть без жены?
Знать вы должны:
Едет Элис, англичан королева,
Карла Французского дочь,
Мимо нас в эту же ночь.
Хоть и вдовица она, а не дева, —

Чести её не порочь!..

Фландрия, в бой!
Вот он какой —
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

«Как сложена!
Очи – по ложке!
Носит сапожки
Из плиса она!
Чем не жена?
Тысяча копий,
Триста холопей,
Триста стрелков
Лучших полков
Скачут за нею в охране:
Все англичане!

Братцы! неужто мечом и копьем
В поле мы их не собьем?
Рать – не в отказ:
– О, Иисусе!
Дельце-то в нашем ведь вкусе:
Графу супругу добудем как раз!

Фландрия, в бой!
Вот он какой —

Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

Темная ночь,
Что за обозы?
Едет от Мозы
Карлова дочь.
Страх укачало в носилках кра-
сотку, —
Спать ей в охотку:
Снявши сапожки,
Вытянув ножки,
Чепчик – на ушки,
Носик – в подушки,
Дремлет и грезит...

– Носилки! стой!..
Кто-то к ней лезет —
Да не простой!
Бедная дама
Глазами – хлоп!
Граф ее прямо
Целует в лоб.
Кровью покрыт,
Ей говорит:

– Тысяча копий,
Триста холопей,

Триста стрелков
Лучших полков —
Все легли лоском
На поле плоском!
Стало быть, вы, моя дама, в плену, —
Будьте же мне за жену!..

Фландрия, в бой!
Вот он какой —
Клич боевой
Графа Балдуина Железной Руки.

Болотная царица

Сказка мареммы[4]

Три водяных царя задумали жениться.

Первый царь владел рекою Нилом в Африке; ему были покорны все реки на земле.

Другой жил в вертячем морском омуте близ Реджио. Он управлял морем от Сицилии до Корсики и вдоль по всему западному берегу Италии до самого Монако.

Третий царь был болотник; ему подчинялись все стоячие воды, трясины, топи, грязи, зыбучие пески на все четыре стороны от его жилья. А жил он, где теперь Гаэта, только немного дальше от моря, в глубоком провале зеленой мареммы.

Царь Нила женился на дочери эфиопского царя, прекраснейшей из черных девушек, опаленных полуденным солнцем.

Морской царь явился рыцарем в зеленой броне ко двору сицилийского короля и, победив на турнире дюжину соперников, завоевал руку и сердце принцессы с изумрудными глазами и рыжими волосами до пят.

Но третий – болотный царь – был так урод-

лив, что ему не удалось найти жены ни между земными девушками, ни между воздушными феями. Черный и влажный, слепленный из болотного ила, опутанный водорослями, он ходил на лягушечьих лапах. Глаза его чуть светились, как гнилушки, вместо ушей висели пустые раковины.

Женатые цари стали смеяться над своим безобразным товарищем и сулили, что прожить ему весь век холостяком.

Болотный царь был горд и обидчив. Он приказал подвластным ему чертенятам:

– Ступайте по всей земле – узнайте, кто теперь самая красивая девушка в подлунном мире.

Чертенята, возвратясь, сказали в один голос:

– Конечно, это золотоволосая Мелинда, дочь графини Примулы. Она живет в замке на границе гор и твоей мареммы[5]. Вся она – как лепесток алой розы, плавающий в самых лучших сливках. Бирюза и василек поссорились из-за глаз её, споря, на кого из двух они больше похожи.

Однажды служанки сказали прекрасной

Мелинде:

– Графиня, на маремме показались чудесные желтые кувшинки; таких еще не видано в нашем краю.

Мелинда спустилась с высот своего замка к зеленым болотам, и точно: на изумрудной трясине сверкают, как маленькие солнца, золотые чашечки сочных водяных цветов, но цветы росли далеко от твердого берега, и Мелинда не могла дотянуться к ним руками.

В трясине – вблизи цветов – лежал и гнил старый, черный пенъ погрязшей ивы.

– Где держится дерево, там возможно удержаться и мне, – подумала Мелинда, – не много тяжести прибавлю я этому чурбану...

Легче стрекозы прыгнула она с земли на ивовый пенъ и весело наполнила свой передник желтыми цветами. Тогда мертвый чурбан ожил – и, крепко обняв свою добычу, болотный царь, вместе с Мелиндою, погрузился в жидкую тину.

Служанки, видя, что госпожу их засосала трясина, с плачем понесли горькую весть графине Примуле. Графиня оделась в траур и отслужила панихиду по умершей дочери.

Она каждый день приходила к месту гибели Мелинды и плакала так горько, что вместе с нею плакали все птицы над болотом. Но, боясь царя мареммы, ни одна не смела рассказать несчастной матери, что случилось с её Мелиндою.

Наконец, один старый аист, улетая осенью в Африку на зимовку, сказал Примуле:

– Не убивайся так ужасно. Дочь твоя жива. Ее похитил и держит в плену болотный царь, владыка этой мареммы.

– Могу ли я вернуть ее? – спросила Примула.

– Этого я не знаю. Но в маремме живут три колдуна, знакомые с болотным царем. Они могут объяснить тебе все, что ты желаешь.

Примула отправилась к колдуну и дала ему много золота, чтобы он научил ее, как спасти Мелинду.

– Ничего нет проще, – отвечал колдун. – Болотный царь не имеет права задерживать у себя твою дочь, если...

Но он не успел договорить, потому что чары болотного царя мгновенно превратили его в лягушку, и, убегая от пролетавшего журав-

ля, колдун проворно прыгнул в камыш.

– Сущие пустяки, – сказал другой колдун. – Зови свою дочь с того берега, где она погибла, девять зорь утренних и девять вечерних по девяти раз каждую зорю, и болотный царь потеряет над нею власть, если...

Но на этом слове чары болотного царя скрутили колдуна в пестрого ужа, и он, зашипев, обвился вокруг золота, подаренного ему графинею.

Придя к третьему колдуну, графиня скрыла от него несчастья двух его товарищей и сказала так:

– Болотный царь украл мою дочь. Но мудрые люди говорят, будто я могу вернуть ее себе. Стоит только девять зорь утренних и девять вечерних звать ее по девяти раз на том месте, где она потонула, и болотный царь должен будет отпустить ее, если...

– Если она еще девушка, – договорил колдун.

И, обращенный в кулика, жалобно застоял над ближней лужей.

Девять утр и восемь вечеров болото безмолвно внимало материнскому призыву. Ко-

гда же догорела последняя вечерняя заря, графиня Примула – вместе с туманом, побежавшим по маремме, – услышала из трясины голос Мелинды:

– Поздно зовешь меня, мать моя. Болотный царь овладел мною, и я осуждена остаться его рабою, на дне болота. Прощай, мать! Я в последний раз говорю с тобою. Близка зима, и скоро мы, с царем-супругом, задремлем на тинистом ложе, пока солнце не возвратит земле тепла. Новым же летом я дам тебе знак, что я жива и помню о тебе.

Прошла зима. Отшумели весенние дожди, отпели соловьи, вытянулся в метелку зеленый маис, зачервонел баклажан, надулся в золотое ядро толстокожий лимон, пролетели и умерли светящиеся мухи, загрохотали по горам ночные грозы, – и вот, с первою зарею, поворотившею солнце от нежной весны к палящему лету, на поверхность трясины поднялся из глубины, на скользком коленчатом стебле, новый цветок: водяная лилия.

Вглядываясь в её молочно-белые лепестки, зарумяненные лучом розовой зари, Примула узнала цвет лица своей дочери, а сердцевина

цветка была золотая, как волосы Мелинды. И Примула поняла, что перед нею – внучка, дитя союза Мелинды с болотным царем.

Примула прожила много лет, и каждый год Мелинда покрывала трясину ковром белых лилий, в знак того, что она жива и, вечно-юная и прекрасная, царит над болотной державой. Но однажды слуги, сопровождавшие графиню в её обычную прогулку к болоту, сказали друг другу:

– Долго ли таскаться нам изо дня в день следом за сумасшедшею старухой? На ней драгоценное ожерелье, каждая жемчужина которого стоит больше, чем все мы вместе можем заработать за целую жизнь, если даже не будем разгибать спины от солнечного восхода до заката. Убьем старуху и бросим труп в болото. Все поверят, что она сама свалилась в трясину – в объятия своей любезной Мелинды.

Злодеи поступили, как говорили, и скрыли убийство так хитро, что остались ненаказанными. Но с тех пор осиротелая Мелинда возненавидела людей. В справедливом гневе, она отреклась от своей прежней кроткой при-

роды и сделалась угрюмою и жестокою, подобно своему страшному супругу. Вместо нежных лилий она стала рождать чудовищ, гибельных для человеческого рода. Она произвела свирепую моровую деву, малярию, опустошительницу маремм. Она родила блуждающих огненных духов, что втягивают в топи ночного странника, показываясь ему издали лампою в деревенской хижине, маяком на скале, костром пастуха или факелом путешественника. От Мелинды произошли столбообразные белые призраки, качаемые полуночным ветром над провалами болот, когда в стоячие воды глядится полная луна. Они вползают по месячному лучу в жилища людей и поражают их лихорадкою. Дочери Мелинды – прекрасные голубоглазые чертовки, завлекающие в болота береговых прохожих. По пояс в трясине – потому что лишь до пояса они женщины, а ниже – гадкие лягушки, – они молят спасти их от верной гибели, но, когда прохожий разжалобится и протянет им руку помощи, они с хохотом топят его самого в зыбучей бездне. От Мелинды родились феи, низводящие медвяную росу на

плодовые деревья и поражающие человека горловыми болезнями. Она родила однополую ехидну, взгляд которой ядовит для людей, и толстую жабу со свиным голосом и человеческим смехом, которую ищут колдуны, чтобы её печенью и кровью окормливать беременных женщин, – и тогда они выкидывают плод или рожают безобразных кобольдов.

Черный всадник

Вот что рассказал мне старый, одетый в белую мантию, монах в долгую бессонную ночь, когда мы вдвоем с ним сидели на мишстой стене флорентинской Чертозы и смотрели на синий мрак долин и большие звезды темного безлунного неба.

I

Было племя, был город, – великое племя, золотой город.

Венд был вождем города.

Народ, которым он правил, – теперь забытый даже по имени, – жил здесь, между двумя теплыми морями, у подножья невысоких гор, под синим шатром ласкового неба. То был кроткий народ пастухов и земледельцев, не ведавший ни войны, ни междоусобий. Люди мирно обрабатывали поля, выгоняли стада на пастбища и чтили богов. Таинственные незримые существа возвещали мудрым из народа свою волю шелестом дубравы, грохотом горных потоков и течением небесных светил.

Было время, когда в этот благословенный

край пришло и осело в нем, как саранча, дикое воинственное племя. Одетые в звериные шкуры, покрытые, вместо шлемов, ужасными мордами волков и медведей, бородатые и длинноволосые дикари упали с гор на долины, подобно снегу из заблудившейся в небе тучи. Они избили треть населения, а остальной народ обратили в рабство.

Они заставили побежденных выстроить по ущельям и на вершинах холмов крепкие замки и заперлись за их стенами, поделившись на мелкие дружины. В то время, как порабощенные туземцы гнули спину над черными пашнями или водили стада по зеленым горным скатам, дикари-победители следили за ними со своих вышек, как ястребы, всегда готовые слететь в дол на добычу. И, когда они слетали, худо было стране: поля утучнялись кровью и мертвыми телами, сотни юношей и дев увозили горные мулы пленниками в замки чужеземцев, а победители справляли празднества в честь новой удачи.

Но в среде покоренного народа было не мало людей мужественных и гордых. Они не захотели покориться игу чужеземцев и бежали

из родного края в далекие юго-восточные горы. Там беглецы жили нищенским бытом звероловов и пчеловодов: один день сыты, два дня голодая. Тем не менее число их с каждым днем возрастало, и наконец их собрались многие тысячи. Тогда они решили восстать и сказали своим старейшим:

– Выберите из своей среды вождя, чтобы мы могли идти за ним с мечом и огнем.

Но старейшины отвечали:

– Вот мы спрашивали богов и в шуме вод, и в полете птиц, и в звездных путях, но боги безмолвствуют. Знать, избранника нет между нами. Подождите, пока боги укажут его!

В одну ночь, когда верховный жрец беглецов крепко спал пред очагом в своей пещере, некто шепнул ему на ухо:

– Встань, близится избранник, иди ему на встречу!

А когда жрец в испуге сорвался со своего жесткого ложа, отряхав сон от зениц, в отверстие пещеры заглянул косматый зверолов – начальник стражей ущелья, восклицая:

– Проснись, отец, потому что над горами видно великое чудо!

Большая, невиданная дотоле, звезда воссияла на далекой восточной черте, где синее небо сходилось с черными горами. Она была – как рубин в рукоятке царского меча, а под нею висела широкая полоса светящегося тумана. Звезда блистала так ярко, что освещала весь небесный простор, как смоляной факел осветил бы тесную хижину. Жрец долго стоял на обрыве пред своею пещерой, вперив взор в дивное явление и измеряя мыслями его тайну. Потом сказал стражу зверолову:

– Возьми головню с очага и иди предо мною. Мы пойдем, куда зовет нас звезда.

И, в трепетном молчании, они вышли из горного гнезда беглецов и погрузились во мрак спящих ущелий. Облака покрыли влагой их плащи, колючие травы раздирали их обувь, утесы торчали поперек их дороги, как ночные великаны-грабители, неизмеримые пропасти разевали вокруг них черные бездны, полные шумом диких водопадов, Не раз вскакивали с их пути хищные звери и, стоя в стороне, жалобно выли, дивясь из темноты на красное трескучее пламя головни, которою размахивал пред собою страж-зверолов. И, ко-

гда из глубины ущелий, от потоков, потянуло предрассветным ветром, когда изумрудное созвездие Вога, перевернувшись к зениту дышлом, покатилося за горы, а новая звезда, в предчувствии денницы, стала быстро бледнеть и таять на просветлевшем бирюзовом небе, – жрец и зверолов вышли из гор на отлогий берег шумного моря. Запылала заря и – в пене буйного прибоя – показала им юношу, без чувств распростертого на груди камней и раковин. На челе юноши сияла золотая повязка и меч с золотою рукояткой сверкал у его бедра. Увидев это, жрец и зверолов исполнились страха и благоговейно преклонились пред юношей; он же, открыв большие глаза, синие, как небо, смотрел на них с изумлением и не понимал, что они говорили ему, а они не понимали, что говорил он. Но так как юноша, ударяя руками себя в грудь, много раз повторил одно слово – «Венд», то жрец сказал:

– Кто бы ты ни был, о Венд! следуй за нами, ибо звезды послали нам тебя, чтобы ты поразили наших врагов и правил нами!

II

Шесть лун родилось и умерло; родилась и

созревала седьмая. Тогда жрец сказал стражу-зверолову:

– Ударь в щит, чтобы собрались люди и слышали, что скажет им Венд.

И, когда, на звук щита, сошлись горцы-беженцы, жрец вывел к ним Венда из пещеры и сказал:

– Вот вождь, которого вы просили у богов. Мы со стражем-звероловом нашли его в первую ночь таинственной звезды, озаряющей восток. Шесть лун он был моим гостем, и я скрывал его в своей пещере. Теперь возьмите его: он ваш! – но преклонитесь пред ним, ибо он избранник светил, в ночи блуждающих над нами по неизменным небесным путям.

Так как горцы очень изумились и молчали, то Венд выступил вперед и сказал:

– Не для того скрывался я шесть лун в жилище мудрейшего из вас, о люди гор, не для того учился вашему языку, чтобы теперь молчать пред вами, кто я и как попал к вам. Моя страна далеко – к югу от вашей. У вас тепло – у нас жарко. У вас растет пиния и магнолия – у нас пальмы и бананы. У ваших гор снег се-

ребрит только чубы на макушках, наши уперлись головами в небо и по пояс опустили седые бороды. Имя этим горам – Небесные; у подножия их жил мой народ – такие же русые люди, с белым телом и светлыми глазами, как я, кого вы видите пред собою. Вы называете меня Вендом. Это имя не мое, а моего народа, но, так как я один между вами и мне не быть уже на родимой стороне, то пусть отныне Венд станет моим именем!

Я князь и сын князя своего племени. Мой пращур населил долины Небесных гор, – цветущие долины, где розы благоухают над жемчужными ручьями, где по вечно зеленым пастбищам бродят козы с шерстью белой, как молоко, блестящей, как серебро, мягкой как пух, что осенью рождается в воздухе и летает по ветру. Сильный враждебный народ стал напирать на нас с юга. Мы не захотели отдать ему свои розы, ручьи и коз. Мы бились с ним острыми мечами, но пришельцы задавили нас, как лавина давит караван в ущелье, смыли нас с лица земли, как наводнение уносит хижину с речного берега. Неудержимо стремясь на север, они остановились в нашем

краю лишь на одну зиму и потекли дальше; но и этого было достаточно: позади их осталась кровь, трупы и пепел.

Когда минуло это великое несчастье, мой отец, с немногими уцелевшими от бойни, выступил из заоблачной пещеры, куда удалился он после нашего поражения, и сказал:

– Я дряхл и сед: мне уже не вкусен мед, и дротик колеблется в моей руке. Пала моя дружина, – дожди моют её кости на дне долин. Мне в пору только сожигать трупы и плакать у их костров: умерла душа моя, не мне мстить врагам и восстанавливать величие вендов. Ты, сын мой, юноша; мышцы твои крепки, и ум полон смелыми помыслами. Иди на север! Там найдешь ты пустынный край – границу земли и снега. На полноводных реках, прорезывающих дремучие леса и необозримые степи, живет там обильный, одноплеменный нам, народ. Пади к ногам его старейшин, и пусть они, великие Ваны, примут на себя обиду, которою поразили нас, их братьев, жестокие Азы!

При имени Азов затрепетали горцы, потому что так назывался народ, угнетавший и их

страну. Но Венд продолжал:

– И я вышел в путь, и мир открылся моим очам. Я спустился с великих гор в желтую пустыню, где только ветер был мне товарищем, обгоняя песчаными вихрями бег моего верблюда. Маревое реяло предо мною в душном воздухе, солнце красным шаром ходило в вышине, а по ночам звезды загорались над моею головой такие большие и яркие, что казалось, будто я еду в их области, и холодный ветер полуночи, развевая мой бурнус, несет меня прямо к неподвижной звезде севера, которой держаться велел мне отец, чтобы достигнуть страны великих Ванов. Так доехал я до большой реки, катящейся по пескам. Здесь меня взяли в плен чернобородые воины с пиками, украшенными хвостами коней, и, ограбив, продали, как раба, халдеям – в храм великих магов, поклонявшихся золотому солнцу – огню вселенной. Но когда маги узнали, что я – Венд и происхожу из страны солнца, они возвратили мне свободу, наградили меня и, поклонившись до земли, указали путь к западному лукоморью, где имеют дома люди-корабельщики, чтущие жестокого медного бога,

пожирателя младенцев, и добывающие из раковин темно-синий пурпур. Им известна страна великих Ванов, и я сел на корабль, чтобы достигнуть её, но буря унесла нас от берегов в открытое море. Три дня и три ночи она влачила нас по волнам, передавая с рук одного разъяренного ветра на руки другому, еще более ожесточенному, пока, наскучив нами, не ударила корабль о подводные камни. Море поглотило моих спутников, а меня, слугу таинственного жребия, выбросило на ваш берег. И вот я здесь, и ваш жрец, мудрейший из людей, стал мне вторым отцом и открыл мне очи на божественную волю, начертавшую мою судьбу. Звезда вошла над моей головой. Люди гор! если вы доверяете её выбору, я ваш. Я поведу вас на ваших притеснителей, потому что, если я не нашел великих Ванов, то нашел тех, кому я обязался мстить: ваши враги – мои враги. Идите же за мною, люди гор, и возвратите своим братьям свободу, а себе – отчизну!

Так сказал Венд, и горцы подняли его на щит с радостными кликами:

– Живи, Венд! живи, наш вождь, избран-

ник звезды, и да погибнут Азы!

III

Венд победил Азов и вытеснил их далеко за пределы освобожденного края. Аз-Тор, рыжебородый предводитель притеснителей, негодуя на свое поражение, сам пронзил себя мечом и был похоронен в русле отведенной реки, по обычаю великих богатырей своего племени.

Венд правил долгий, счастливый век, о котором до сих пор сокрушаются люди, называя его золотым. Венд не вел войн, чтобы расширять свои владения, но никто не дерзал нападать на его область: так грозно смотрела в очи иноземцам мощная власть внутри страны, многолюдной, богатой, текущей молоком и медом. Ко двору Венда стекались богатыри, мудрецы и художники. Он воздвигал великолепные здания и наполнял их изображениями богов, почитаемых его народом. Сам Венд не верил во многих богов. Когда, еще в стране убежища, верховный жрец вывел его, юношу, на темя горы и сказал ему:

– Поклонись солнцу, ходящему в небе, потому что оно – Зевс.

Венд покачал головой и возразил:

– Нет, отец. Хотя ты очень мудр, но ошибаешься. Солнце не Зевс, а разве одно из жилищ Зевса.

Жрец взглянул на него с удивлением и воскликнул:

– Разве ты один из посвященных, что тебе известно таинство, передаваемое в нашем соловии из рода в род и от отца – на смертном одре – сыну?

Венд сказал:

– Так веровал весь мой народ, живший у подножия Небесных гор.

Жрец еще более изумился, но, качая головой, ответил:

– Счастлив народ, озаренный светом истины, но – сын мой! наш народ прост и дик; ему мудрено постигнуть великую тайну. Не оскорбляй его божеств, чтобы он не возненавидел тебя и не отказался видеть в тебе избранника.

Венд сказал:

– Я никого не хочу оскорблять. Я не могу поклоняться солнцу, как Зевсу; но разве оно – прекраснейшее из жилищ Зевса – не достой-

но того, чтобы пред ним благоговел простой смертный?..

Суд Венда, справедливый и нелицеприятный, славился в самых дальних пределах земли. Народ его был велик и многочислен, но Венд сам вникал во все тяжбы своей страны. Придворные говорили ему:

– Зачем ты утруждаешь себя, вождь? Суд могли бы справить за тебя и мы, твои ближние мужи!

Венд возражал:

– Я не веду войн, жертвы и храмы отдаю жрецам; если же я и суд вам отдаю, – что же оставляю себе? Справедливость – дело вождя. Оставьте меня делать свое дело: от этого не будет хуже ни мне, ни вам.

Венд был человек ученый, знал травы, камни и слова, исцелявшие недуги, читал звездную книгу и, глядя в лицо человека, узнавал его мысли. Звери засыпали от его блестящего взора. Он не делал золота, потому что презирал его, но мудрые книги научили его тайне долгой жизни и, посещая больных, он восстанавливал их силы, так что нигде на всей земле смерть не имела так мало жертв,

как в стране Венда.

Так жил Венд и дожил до восьмидесяти лет, когда седая голова его пожелтела, а борода опустилась до самого пояса и стала похожей на пену, что после волнения качается на зеленых морских волнах.

IV

Пришла в Золотой город весть из соседнего царства:

– Неспокойно у нас в царстве. Невидимкой ходит между людьми неведомая болезнь, и многие умирают напрасной смертью. Берегитесь, чтоб и у вас не было того же.

Вскоре после того, как Венд получил эту весть, прибегает к нему начальник стражи, которую держал он в пограничных ущельях, и говорит в испуге:

– Тридцать лет стою я стражем на рубеже нашей земли, как раньше стояли мой отец и дед. Мимо меня не прорыскивал зверь, не пролетывала птица, без того, чтобы я не знал и не мог отвечать о них твоему могуществу. Сегодня проник в страну какой-то витязь на вороном коне, в черном доспехе. Мы окликнули его, – он не отозвался нам; мы требовали,

чтобы он остановился и сказал свое имя, – он, молча, переехал границу; мы скрестили перед ним копья, но он дунул, – и копья распались прахом, а многие из моих воинов упали замертво, и теперь часть их уже умерла, а остальным так худо, что, я полагаю, недалек и для них час кончины. Пока мы, пораженные страхом, стояли в онемении, витязь скрылся из вида. Боюсь, Венд: не из тех ли он злых волшебников, которые, как слышно, сеют болезнь и смерть в соседней стране.

Смутился Венд, – стал смотреть в мудрые книги, но ничего не сказали ему мудрые книги. В волнении ходил он по открытым террасам своего дворца, и так билось у него сердце, и так мутились мысли в голове, что он подумал:

– Стар я стал и скоро умру!

Ветер колыхал платаны сада, придвинувшие к террасам свои могучие сучья, фонтаны шумели в их тени, птицы чирикали в их ветвях, радуясь солнечному дню и голубому небу, но и в шуме платанов, и в плеске фонтанов, и в пташьем крике звучало Венду:

– Ты скоро умрешь, друг Венд! ты скоро

умрешь, друг Венд!

И задумался старый вождь, взявшись руками за перила террасы. Но дух воспрянул в нем и, тряхнув седыми кудрями, он воскликнул:

– Да будет так! я прожил довольный век и сделал, что мог в своей жизни. Умирать – так умирать! – я готов, не боюсь. У меня есть сын: он займет мое место и, как я, будет блюсти и любить мой народ.

С просветленным лицом и спокойным духом, Венд вошел в палату своего совета. Но здесь предстал ему вестник и сказал:

– Государь, в пограничных селах, где проехал черный витязь, вымерли тысячи жителей. Испуганный народ бежит толпами в город, чтобы ты защитил их от лютого волшебника, а он медленно едет следом за беглецами и губит их...

И не кончил еще рассказа этот вестник, как вбежал другой, растерзал свою одежду, упал ниц перед вождем и воскликнул, рыдая:

– Горе нам, Венд, во веки неутешное горе! У тебя не стало сына!.. Ратуя за свой народ, он, мужественный, как ты, пытался загородить

путь черному всаднику и вышел против него с мечом и щитом. Но чудовище коснулось его копьем, и вот он лежит мертвый на дороге, и хищные птицы кружат над ним...

Глухо застонал Венд и схватился за палатный столб, чтобы не упасть.

– Пovedите меня к моему сыну! ♦ сказал он потом, но услышал ответ:

– Нельзя, потому что между местом, где лежит его труп, и городскими воротами – несметная толпа беглецов, а в тылу у них черный всадник.

Грозно нахмурил Венд косматые брови, и вопль, похожий на рычание льва в пустыне, вырвался из его груди. Молча вышел он из дворца и крепким шагом пошел через Золотой город, по смятенным площадям и улицам, к крепостным воротам, где, как бараны, толпились в тесной давке обезумевшие беглецы. Они бросались к ногам вождя, целовали края его одежд и вопили:

– Защити нас, могучий Венд!

Венд взошел на крепостную стену и увидел с нее на многое пространство ту же несчастную толпу трусов. Он видел искажен-

ные ужасом лица, полные заячьего страха глаза, простертые с мольбой руки, слезы, текущие по бледным щекам, слышал рыдания, стоны, возгласы единой надежды на него, их вождя, защиту и друга, – и крупные слезы полились из его омраченных глаз и, как алмазы, засверкали на белой бороде.

Последние беглецы, вздымая клубы серой пыли, сбежали с высот и еще ломились в ворота, когда в тылу их, над бесплодным, песчаным холмом, блеснула искра булатного копья и, следом за искрой, черный гигант на черном коне вырос над холмом...

Затрясся старый Венд, увидав губителя своего народа, и слезы высохли на его глазах. Мощною ногою ступил он на зубец крепостной стены и – словно вырос на локоть – сделался велик и страшен.

– Стой! крикнул он, потрясая руками, простертыми к черному всаднику, – и голос его гремел, как гром, когда разбивает утес в горах, а взор сверкал, как зарница.

– Стой, кто бы ты ни был! Я Венд, глава Золотого города, запрещаю тебе следовать за этими людьми, они мои! моя любовь и воля

стоят между тобой и нами!

И рос, и крепчал его голос, и ярче, и острее становился пристальный взгляд светлых очей, и грознее напрягались простертые в воздухе руки, а ветер раздувал пурпурный плащ вождя и космы седой бороды... Черный всадник смутился: сдержал коня и несколько мгновений стоял как бы в нерешимости. Потом повернул коня и, медленно поднявшись на вершину холма, стал на ней – безмолвный и неподвижный, подобно изваянию одного из суровых богов жестокой древности. Вождя же оставила внедрившаяся в него сила, и он упал на руки сопровождавших его воинов, как дитя, внезапно застигнутое сном.

V

Весь день до позднего вечера не показывался Венд, из своих покоев. Только, когда мгла совсем уже надела на Золотой город, и в большой палате дворца зажглись розовые лампы, наполненные благовонным маслом, вышел он к своей дружине, ожидавшей его с большою тревогой. Мрачным взором окинул вождь мужей брани и совета, сел к золотому столу и спросил:

– Что делает тот... черный воин... наш враг?

– До сумерек, о, государь, он недвижимо, как каменный, стоял над холмом, пугая своим видом смятенный народ. Теперь же мрак покрыл его, и – продолжает ли он сторожить город, уехал ли, – мы не знаем.

Венд опустил голову на грудь, так что лицо его было в тени, и никому нельзя было прочитать его мыслей. Он молчал – и дружина молчала.

– Есть ли между вами храбрые люди?
◆ сказал он наконец.

– Мы все не трусы! не обижай нас, государь! ◆ отвечали дружинники в волнении.

– Но дерзнет ли кто-нибудь из вас поехать сейчас к черному всаднику и говорить с ним?

Дружинники смутились, и старейший из них возразил:

– Ты требуешь невозможного, вождь. Когда человек идет на зверя, он знает, что у зверя есть клыки, когти и стальные мышцы; когда он идет на человека, знает, что у человека есть оружие; – знает, чего надо страшиться от своих врагов и в чем надо стать выше их, что-

бы не быть пораженным или убитым. Это знание дает человеку храбрость. А ты посылаешь нас к волшебнику, поражающему людей насмерть неведомо каким оружием или чарами, от которых нет защиты. Всякую храбрость убивает неведение.

Венд молчал, так как ему казалось, что дружинник говорит правду. Но выступил вперед муж – богатырь ростом и с широкими плечами; он показал Венду бугры мышц на своих обнаженных руках и сказал:

– Венд! Год тому назад, в горной пещере, напал на меня зверь. Такого я никогда не видал раньше и не увижу более, потому что, должно быть это был последний в нашей стране. Боролись мы в темноте, я не видал ни когтей его, ни зубастой пасти, и чувствовал только, что он силен и громаден. Когда же он захрипел под моею рукою и издох, я с великим трудом вытащил его из пещеры и изумился: то был лев, из той могучей породы, что, как говорят старики, некогда во множестве жила в пещерах наших гор, но была истреблена и вымерла. Теперь только громадные скелеты львов белеют у входов в горные

гроты и на дне ущелий. Таким образом я сражался с неведомым, не боялся и победил. Думаю, что я не струшу и черного всадника.

Возвысил голос другой муж.

– Я моряк, сказал он. – Море – могучий титан, а суда мои ничтожные щепки. Море хитро и обманчиво, вздымает внезапные бури и выдвигает сегодня подводные скалы там, где вчера была бездонная глубина. Однако, назло его коварству, я полжизни провел на его поверхности, плавая на удачу то к сикулам, то к иберам, то к жителям далекого Тира. Я привык бороться с неведомым и не боюсь черного всадника.

Третий муж просто сказал:

– Пошли меня, вождь: я поеду.

Венд подумал и сказал:

– Вы поедете все трое.

И он встал с седалища, распрямил свою старую спину, расправил широкие плечи и повелел:

– Скажите ему, скажите злодею: старый Венд, который поразил Азов и шестьдесят лет правит Золотым городом, зовет тебя к престолу Зевса судиться за безвинно погубленный

тобою народ! Завтра, на рассвете, Венд будет ждать тебя у городских ворот и сразится с тобою на жизнь и смерть, копьем и мечом, на коне и пеший, со щитом и без щита!

Так как борода Венда сильно тряслась, когда он говорил эти слова, то дружина окружила его, умоляя:

– Вождь! Успокойся!

Но Венд дал им знак молчать и вышел из палаты.

VI

Безмолвно ехали три богатыря сквозь темную ночь к холму черного всадника. Круглая луна уже выставила из-за гор большой свой отрезок, но была еще красна и не давала света. Ночь молчала. Только копыта коней позвякивали о кремнистую дорогу. Было душно: казалось, будто небо стало ближе к земле и, как низкий потолок, придавило и сгустило воздух над нею. Ветра не было; неподвижные тучи лежали кое-где на небе, точно спящие чудовища, и закрывали своими черными тушами звезды.

Кони стали. Три рога загремели в ночной тишине. Эхо загрохотало по холмам. Звуки

его домчались и в Золотой город. У тысяч жителей дрогнули сердца, потому что молва о вызове Венда разошлась уже между народом, и все поняли, что значит этот грозный призыв.

Еще... и еще... Трижды трубили богатыри, но трижды им не было ответа с вершины холма.

– Явное дело, братья, враг ушел, и мы ждем отклика от пустого места, – воскликнул богатырь-убийца льва, и товарищи согласились с ним.

Но, когда луна поднялась и побледнела, ночь из черной сделалась синею, и черный всадник предстал глазам послов Венда, такой же угрюмый и застылый, как видели они его днем. Тогда богатырь-моряк закричал ему своим густым голосом, привычным к борьбе с ревом ветра и стоном седого моря:

– Витязь! Мы трое – послы к тебе от Венда, царя Золотого города. Дозволь нам говорить с тобою. Коней и оружие мы оставим у подножия холма по посольскому обычаю нашей страны, и верь, что мы не нападем на тебя изменой. Можем ли мы приблизиться к тебе без

боязни, что ты поразишь нас?

Моряк замолк... Месяц доплыл до облака и нырнул в его глубь; небо потускло; ветер неожиданным порывом коротко свистнул в ущелье; ночная птица где-то крикнула... Наконец послышался ответ – как будто издали, глухой, сильный, но такой могучий, словно весь холм вздохнул глубиной своей песчаной груди:

– Идите!

Богатыри поднялись на холм, поклонились всаднику и подивились его росту, коню и тяжелому оружию. Они хотели взглянуть ему в лицо, но черная стальная сетка висела у него с шелома на грудь, спину и плечи. Кольчатая рубаха, кольчатые рукавицы, кольчатая обувь: весь всадник был – как выкованный из стали. Напрасно приветствовали его богатыри: он не ответил им ни словом, ни наклоном головы. Богатыри сели на песок, и так заговорил первый из них – убийца льва:

– Мы привезли тебе вызов на смертный поединок от нашего вождя, старца Венда. Будь на рассвете у городских ворот. Вождь встретит тебя и сразится с тобой за обиженный то-

бою народ, как некогда сразился он с Азами и уничтожил их. Если же ты силой чар или оружия победишь нашего государя, то не один он богатырь в своем народе! Я первый...

Но – на этом слове – затрепетал богатырь; голос его прервался, и он впился безумными от испуга очами в ночную тьму, которая, за спиной всадника, была как будто и гуще, и туманнее, чем всюду. Слыша, что товарищ умолк, не скончав речи, – богатырь-моряк подумал: «верно, оробел!» и продолжал, за него:

– Наш вождь и все мы в Золотом городе – дружина и народ – одно тело. Не знаем, одолеешь ли ты нас, но, если и одолеешь, дорого станет тебе победа. Грудью пойдет дружина Венда на твои чары, и вот эта, привычная к битвам с людьми и морем, грудь будет первой, которую ты встретишь в бою...

Но тут и моряк оборвался на слове: очи его расширились, волосы на голове зашевелились, колена задрожали, и зубы застучали, как у лихорадочного. Заметив это, третий богатырь встал с земли и, закрыв глаза рукой, чтобы подобно товарищам, как предположил он, не увидеть чего-нибудь страшного, спро-

сил:

– Что же прикажешь ты передать Венду?

И опять раздался голос, подобный вздоху песчаного холма:

– Буду!

На обратном пути к Золотому городу третий богатырь спросил:

– Братья! что было с вами? Отчего вы так странно замолкли?

Убийца льва сказал:

– У меня открылись очи на невидимое. Знай, брат: всадник не один на холме. За ним видел я великое полчище образов, бледных, страшных, искаженных судорогами смертельной муки. И в полчище этом был... мой покойный отец. Он рыдал, ломал руки и делал мне знаки, чтобы я замолчал... О, брат! Слово само застыло у меня на устах!

Моряк сказал:

– Я видел то же самое... и своего старшего брата Арна. Лицо его было бело, как известь, а на лбу краснела рана, что привела его к погребальному костру. Далеко, на счастливых островах великого моря, за столбами Мелькарта, убили брата черные люди; а вот в эту

ночь он предстал предо мною здесь на горе и, рыдая, молил меня взглядом и движениями, чтобы я не раздражал черного всадника.

– Братья! ♦ воскликнул третий богатырь, – у кого же были мы, кого видели, если он творит такие чудеса?

– Это волшебник! ♦ сказал убийца льва.

– Это злой дух! ♦ сказал моряк.

«Это сама смерть!» ♦ подумал третий богатырь.

Венд ждал возвращения богатырей в своей опочивальне. Бессонный лежал он на ложе, блуждая в темноте открытыми глазами, и думал об умершем сыне и о своем народе, но не плакал и крепко сдерживал накипевшие в сердце слезы, потому что боялся ослабить рыданиями силу своих мышц пред утренним поединком. Молча выслушал он послов и отвернулся от них лицом к стене. Пред рассветом оруженосец вошел в опочивальню, чтобы разбудить Венда, но нашел его уже вооруженным: со шлемом на голове и с мечом у бедра.

– Вождь! заметил он: разве нет у тебя лучшего меча? Ты препоясал свой старинный меч, выкованный из плохой стали неискус-

ными руками грубых горных кузнецов.

– Да! ♦ возразил он. – Но не бойся: его не съела ржа, и он по руке мне, как в дни юности. Им когда-то поразил я азов; им сослужу я последнюю службу своему народу. Дух живет в моем старом мече, – вещей дух любви, чести и свободы, и горе тому, против кого восстаёт этот дух! Верую в него, и не надо мне лучшего меча! Седлай мне коня, и – смело на врага!

VII

Белый туман лежал на горах, долине и стенах Золотого города. Все зубцы на стенах были усеяны людьми, пришедшими видеть поединок, но напрасно они искали своего царя в молочной мгле рассвета. Только его серебряный рог звучал где-то под стеной, в бездне тумана, вызывая ответные трубные звуки на песчаном холме. На дальней вершине загорелась золотая точка; к ней, как стрелы к цели, полетели луч за лучом еще не видного в долине, но уже взошедшего за её крутыми границами, солнца. Горные скаты и обрывы расцвели румяными пятнами. В зыбкие клубы тумана посыпались розы, серебро, золото и

драгоценные камни. Молочная мгла заволновалась и стала таять, оседая росой к земле или всплывая паром к легким облакам лазурного поднебесья.

Горожане увидели Венда. В белой одежде, сверкая золотом на панцире и шлеме, возвышался он, верхом на белом коне, на бугре у большого пути из гор в Золотой город. Он был светел лицом, и булатное копье не дрожало в его руке. Он смотрел навстречу солнцу, выплывающему большим шаром из-за высот востока, и, казалось, читал молитвы. Единодушный вопль приветия вырвался, как из одних уст и одной груди, у всех горожан, когда они увидели своего героя; а он наклонил свое копье – приветствуя их и прощаясь с ними...

Как грозовая туча, спускался с песчаного холма черный всадник; земля гудела под копытами его коня; он казался еще громаднее и грознее, чем вчера. Во ста шагах, не доезжая Венда, он остановился. Так как народ на стенах очень смутился, и все мертво молчали, то далеко разнеслось и было слышно мощное слово всадника к Венду:

– Старик! дай мне дорогу. Я хочу войти в

твой город.

И слышно было слово Венда:

– Ты не войдешь!

– Венд, любимец Зевса! Я, имеющий власть надо всем на свете, хотел бы пощадить тебя...
Дай дорогу.

Венд сказал:

– Я и мой старый конь – вот твоя дорога. Растопчи наши тела копытами твоего коня. Но, пока я жив и сажу на седле, ты не поедешь далее.

– Венд, ♦ возразил черный всадник, – я знаю, что ты эту ночь вопрошал светила, и они сказали тебе, кто я.

– Да, я знаю, кто ты.

– И все-таки противишься мне?

– Да.

– Берегись, Венд! Я – неодолимая сила.

– А во мне живет бесстрашная любовь.

– Ты – безумец, Венд.

– Нет, я – вождь. Когда мой народ был рабом я его освободил. Когда он был бесправен, я его судил. Когда он голодал, я его кормил. Когда нападали на него болезни, я его лечил. Когда врывались к нему враги, я спасал его

победой. Теперь я могу умереть за него.

Черный всадник покачал шоломом.

– Ты стоишь предо мною, о Венд, как слабая соломинка пред бурей пустыни. На каких же условиях будем мы биться?

– Что может предписывать слабейший сильнейшему? возразил Венд.

– Венд, клянусь тебе, если б я умел и мог смеяться, я смеялся бы над твоею безумною отвагой... Чего ты потребуешь от меня, если победишь?

– Ты оставишь меня и мой народ жить и умирать так же, как вела нас воля Зевса до твоего прихода, – спокойно сказал Венд.

– Клянусь тебе в этом самым собою. Клянусь! ♦ воскликнул всадник, поднимаясь на стремянах, и доспехи на нем затряслись и зазвенели.

– Дай бою!

– Дай бою!

Всадник пронзительно свистнул и ринулся на Венда с поднятым копьём. Бойцы сшиблись. Облако пыли взвилось из-под конских копыт и скрыло битву от глаз толпы. Вот раздался тяжкий удар... что-то охнуло, зазвенело,

затрещало, – и горы звякнули в ответ гулким эхом... Осколки копий высоко брызнули в воздух... земля загрохотала от грузного падения... и горожане увидели, что вождь их победил! Как светлый дух, стоял он над простертым на земле врагом, давя его грудь коленом, и, сверкая у его горла мечом, восклицал:

– Ты побежден!.. Вспомни, вспомни! ты клялся!

А невдалеке бешено грызлись и лягали друг друга их разъяренные кони...

Небесным громом прокатились по Золотому городу клики спасенного народа.

– Победа! славьте вождя! он жив и поразил черного всадника!

Но черный всадник встал с земли и, мрачно глядя на городские стены, сказал:

– Венд! я клялся и сдержу клятву. Ты спас свой народ. Вы будете жить, но никому из живущих на земле не видать больше Золотого города. Да позабудет мир, что рукой смертного была побеждена здесь сама великая Смерть!..

Так сказал он и вырос до облаков и заслонил собой солнце. Простертые руки его кос-

нулись западных и восточных гор. И горы – недвижимые от века – застонали, оторвались от своих гранитных корней и со звериным рыком покатались на Золотой город. Они накрыли его каменным сводом и навеки схоронили от людского зрения и слуха. По земле прошла весть, что землетрясение в один день уничтожило царство Венда. А, когда пришли в этот край римляне, то самое имя Венда осталось жить только в темных старинных сказках этрусков, населивших его землю. Но Венд жив даже до сего дня: не стареясь, царит он в глубоких подземных недрах над своим не умирающим народом; как прежде, учит его правде и творит над ним мудрый суд и расправу.

Золотая Планета

Легенда острова Корфу[6]

«Мы были вдвоем на пустынной скале, моторванной подземным огнем от острова чудной и дикой красоты и одиноко брошенной в глубокое море.

«Солнце тонуло в западных водах, а нарастающий полумесяц уже стоял в небе белым пятном, готовый загореться, едва последний красный луч сбежит с лысых вершин за приливом, едва померкнет морская даль, окрашенная золотом и кровью.

«И солнце утонуло, и синяя ночь вышла, на смену ему, из прохладного водного царства. Мертвый месяц ожил, и длинный золотой столб закачался в спокойных водах; дрожь и сверкая, тянулся он от нашей скалы... Казалось – то был таинственный путь, по которому мертвые идут с земли в обитель блаженства. Я смотрела в далекий бледный туман и искала вереницу белых теней, – как неверно ступают они, слепые, по огненной влаге, робко держась друг за друга, покорные зову путеводаителя душ. И парус, застывший

черным пятном на золоте моря, не служил ли ладье, где спокойно дремлет старый Харон, ожидая, пока до бортов уйдет в воду ветшающий челн под грузом незримых седоков, пока голос тени-водящего бога не прикажет ему взять в мозолистые руки тяжелые весла?

«Мы были вдвоем – я и *Он*... Как всегда, я не видала *Его*, как всегда, *Он* только дышал прохладой над моими плечами. Но я знала, что *Он* со мною – светлый, как белое облако, прозрачный, как пламя, зыбкий, как туман. И был *Он*, как всегда, задумчив и тих, могуч и велик, и я, как всегда, не знала, кто *Он*, демон ли, раскаявшийся в своем падении? Ангел ли, усомнившийся в своем совершенстве?

«*Его* узкая рука холодным мрамором лежала на моем плече, и – пока шептало засыпавшее море – шептал над моим ухом и *Его* грустный, размеренный голос.

«Смотри в небеса – найди, где трепещет зеленою искрою меч Ориона. Там, в этот час, проплывала когда-то планета; она отгорела, и осколки её, расточенные в мире, время давно уже перемололо в незримую пыль.

«Как прекрасна была она! Люди были на

ней – как те светлые боги, которых воплотить в белом мраморе научили вас творческие сны.

«О как мудры, как кротки были они! Там; да, там был светлый Эдем, возвещенный вам, людям, вдохновенными учителями правды.

«Они были вечны. Не знали они ни смерти, ни злобы, ни горя, ни стыда. Там не было жен и мужей – были только братья и сестры.

«Дух гнева и мести на черных крылах поднялся к блаженной золотой планете. Вражда и зависть к добру увлекали его. Он летел, чтобы воевать и разрушать. Но ни меча, ни копья, ни громов, ни огненной лавы не нес он с собою. Его оружие было в нем самом, – в одном коротком слове, сильном, как смерть, коварном, как змей-искуситель...

«Это слово было – любовь.

«Он подкрался к спящему юноше и шепнул ему на ухо роковое слово и послал ему сны, полные сладкой отравы.

Он подкрался к спящей красавице и отравил её грезы словами и видениями любви.

«Когда на завтра пробудились оба, новыми глазами взглянули они на мир – и новые мыс-

ли, новые чувства охватили обоих.

Они полюбили друг друга...

«С хохотом улетел черный дух с блаженной планеты – и тысячи лет кружилась она, нося в себе яд любви...

«И снова посетил сатана отравленный мир. Как вор, крался он в первый раз по блаженной планете. Как царь, он вошел в нее теперь и сел на троне могил и надгробных памятников. Потому что любовь – сильная, как смерть – и привела с собою смерть.

«Люди планеты лишились блага вечной жизни. Они стали рождать – и умирать. Срок их жизни сокращался из века в век. Они мельчали ростом и силою. Они узнали золото, роскошь, войны, хитрые измены – все зло, каким впоследствии проклял Господь и нашу землю, когда осудил Адама и Еву.

«Людей стало много – так много, что природа планеты, которая была им матерью и кормилицей, уже не могла поддерживать их своими простыми средствами. Люди стали насиловать природу, придумали способы истощать ее, сделались её врагами, воевали с нею всю жизнь, – и сами истощались в этой

борьбе, жизнь их сторала, как свеча, зажженная с двух концов. Долголетие стало чудом. Шестидесятилетний старец был предметом зависти и удивления.

«Чем больше сокращались срок жизни и силы людей, тем больше одолевал их враг – природа. А она становилась все грознее и грознее, потому что планета старела, охлаждался согревавший ее огонь, и путь её отклонился от солнца.

«От полюсов поползли туманы, снега и льды. Они ползли неудержимо, и люди бежали от них, сталкивались, воевали за лучшие места... Лилась кровь; все было полно ненавистью, родившеюся из любви.

«Прошли тысячелетия. Сатана снова посетил отравленный мир. Там, где раньше росли пальмы, он увидал чахлый можжевельник.

«Он искал людей – и нашел кучку большеголовых карликов, зашитых в заячьи шкуры, которые старались развести костер, чтобы согреть своих карлиц, похожих на обезьян. Но отравы любви жила и в этом жалком племени – они влюблялись, терзались; сходили с ума, ловили миг обладания, ревновали, дра-

лись и умирали за любовь... все, все, как и в те дни, когда люди были прекрасны и сильны; а небо синее, а солнце светло и жарко!

«А льды все ползли и ползли с севера и с юга по застылой планете. И вот, они встретились, и на планете не стало ничего, кроме льда.

«Планета умерла.

«Долго, долго носилась она, как огромный алмаз, в немом пространстве; пока не наткнулась на нее заблудившаяся комета и не разбила ее в бриллиантовый град... Куски её брызнули во все концы вселенной. Нет планеты, которая бы не приняла хоть частицу погибшего мира.

«Но больше всех, дитя мое, приняла их земля.

«Ты слышишь ли эти песни? чувствуешь ли этот воздух, напоенный любовью? О, дитя мое! Этот остров, это море, берега, что виднеются за морем, – все это упало с неба ледяным куском в тот день, когда разрушилась отравленная любовью планета. Лед растаял – и кусок, полный яда, разлил свою отраву по земле...

«Дитя мое! Мы – в родине любви... Беги же от неё! Спасайся! Потому что нет в мире зла и несчастья большего любви!

Я спросила:

– Учитель, кто ты, знающий такие тайны?.. почему я должна верить тебе?

«Он отвечал:

– Я тот, кто первый услышал слово любви на умершей планете, я тот, кто первый на ней полюбил и стал любимым, первый, кто отравился сам любовью и отравил ею свой народ...

«И он плакал, и ломал руки, и стонал:

– Не люби! Не люби!

«А ночь уже белела, и розовые пятна блуждали на восточных водах»...

Дубовичи

Карпатская сказка

Жил-был в Карпатах граф. Жил он в круглой серой башне, на крутом обрыве каменной скалы. Под обрывом спало озеро, тихое и прозрачное, точно голубой глазок. Рыбаки с озера, когда привозили рыбу к графскому столу, легко различали из своих челнов, какого цвета пояса и шаровары у часовых, стоящих на сторожевой вышке башни. Но, без подъемной лестницы, которую спускали графские люди, рыбакам, чтобы попасть в башню, пришлось бы взять на три дня окольного пути по дремучим лесам, узкою, сбивчивою тропою в одноконь: так уединенно поселился граф, отрезав себя лесами и озером от враждебных соседей.

В графских лесах росли многие тысячи матерых и кудрявых дубов, по всех краше был старый дуб, возвышавшийся на кустистой поляне пред воротами башни; лесная тропа к башне бежала под тенью дуба, и он был первым деревом дремучей чащи для всадников, ехавших от графа, и последним – для всадни-

ков, ехавших к графу. Разлапистый, толстый и дуплистый, он стоял под зеленым шатром своим, словно вождь всего леса. Аист свил гнездо на макушке дуба. Гуцулы, крепостные графа, думали, что в старом дереве живет тайная благодетельная сила. В Радуницу и Семикони вешали на ветви дуба венки и полотенца – в жертву родителям. Потому что в те времена еще верили, будто души предков летают по лесам, отдыхают на сучьях тенистых деревьев и любят, когда внуки приносят им дары и поклон от живых.

Граф был суровый дикарь охотник, бражник-насильник, но христианин. Он жестоко гнал последних язычников, еще гнездившихся в каринских трущобах, и беспощадно истреблял остатки и памятники старинных суеверий: разметывал жертвенники, отнимал амулеты, рубил и жег священные деревья, казнил волхвов и знахарок. Но на свой старый дуб он только косился, а тронуть его не смел. Дуб значился в гербовом щите графа, и ему было совестно посягать на ветхое дерево, словно на родного.

Никто из жителей башни не любил тень

старого дуба больше, чем графская дочь – восемнадцатилетняя красавица, белая, как молоко, румяная, как заря; её черные косы падали до пят, а васильки, когда, графиня рвала их себе на венок, улыбались её глазам, как родным братьям.

Графская дочь была весела и кротка. Она никого не любила и покорно ждала, когда отец прикажет ей идти замуж за жениха, с которым ее помолвили заочно, по седьмому году, и которого она никогда не видала, хотя и носила на мизинце золотое обручальное кольцо: оно было сделано про запас, на большой палец, но, пока девочка росла, пропутешествовало через указательный, средний, четвертый, до мизинца, а теперь было уже тесно и мизинцу. Поэтому девушка часто снимала неудобное кольцо с руки – и, в конце концов его потеряла.

Графские латники исползали на животах всю поляну вокруг старого дуба, – потому что, сидя под дубом, графиня потеряла кольцо, – но кольца не нашли. Они перерыли мох, облежавший дубовые корни, лазили с фонарем в дупло, но кольца не нашли. А когда латники с

неудачею вернулись в замок, граф раздел их всех до нага и обшарил собственноручно их тела и одежду, так как был уверен, что кольцо найдено, но утаено кем либо из его верных слуг, которых он всех почитал – и небезосновательно – за разбойников и мошенников. Однако и он ничего не нашел. Обрутавшись, как прилично доброму католику, граф дал дочери несколько пощечин и ускакал на охоту. Потеря кольца была тем неприятнее, что вскоре пришли известия о женихе графини. Он уже пять лет пропадал в Святой Земле, рубясь с сарацинами, и теперь ехал из Палестины в Карпаты, чтобы жениться на скорую руку и, на другое утро после свадьбы, опять уехать в Палестину, ибо он был очень храбрый и знаменитый рыцарь. Его собственный меч принес ему много добычи и славы, но сарацинский – отрубил ему левое ухо и выколол правый глаз, что, впрочем, но тому времени, считалось очень к лицу мужчине.

Рыцаря ждали к осени. Граф все время травил зверье; дочка вышивала шелками попону для коня своего жениха, а, в свободное время, – его у нее не было двадцать четыре часа в

сутки, – раздумывала, какова-то будет её замужняя жизнь за человеком, у которого очень много славы и денег, но только один глаз и одно ухо, и которого, вдобавок, она знает не больше, чем индийского попа Ивана[7]. Смущало графиню также мало утешительное намерение жениха оставить ее соломенной вдовой на другой день после свадьбы. Однажды – около полдня – в таких грустных мыслях, она оглядела родную башню, лес, озеро, любимый старый дуб, и ей стало так жаль своей девичьей свободы, так досадно на будущее, что слезы росой выступили на её васильковых глазах.

– Будь моя воля, – сказала она, – никогда бы, ни для какого рыцаря, я не рассталась с тобою, мой милый старый дуб!

Ветер ходил в старой листве старого дуба; она, величаво шатаясь, прошумела: – И оставайся с нами, графская дочка!

Белые цветы, на тоненьких ножках, топорщившие свои головки-звездочки из мохнатого дерна, поцеловали красные башмачки графини и зазвенели:

– Оставайся с нами!

Через поляну, к лесу проскакал заяц и, став столбиком на пенек, подмигивал:

– Оставайся-ка, друг-графиня, с нами!

– Ох, кажется, я задремала – подумала графская дочь, качаясь, потому что ветер, пропитанный запахом болиголова и дикой мяты, баюкал ее, как в колыбели... И вот ей стало сладко, сладко... И в дремотной истоме ей чудилось, будто старый дуб наклоняет к ней свою шумную голову, тянется к ней узловатыми ветвями, и на одном, самом крошечном сучке, блестит её потерянное кольцо. Графская дочь хотела его схватить, но ветви обняли ее крепко... только это уже не ветви, а руки – бурые, в зеленых рукавах, и кольцо блестит на мизинце... Величавый старик, в венке из дубовых листьев и желудей, с серебряной бородой по колена, склонился с поцелуем к алым устам графской дочери... и вокруг стало темнеть, и ей показалось, будто она медленно-медленно погружается в недра земли.

– Кто ты?

И она услышала ответ, подобный шелесту листьев.

– Я тот, с кем решилась ты никогда не расставаться... Я ♠ гений, оживляющий твой любимый дуб, а ты ♠ моя жена. Четыреста лет прожил я одиноким, но когда ты стала приходить ко мне со своими девичьими мечтами, я так же полюбил тебя, как ты меня полюбила, я обручился с тобою и взял тебя женой...

– Где мы?

– Под моими корнями...

Граф, вернувшись с охоты, искал дочь так же долго и напрасно, как раньше пропавшее кольцо. Сперва он предположил, что она убежала с любовником, приказал латникам расстрелять из луков старую няньку графини и перепорол в конюшне всех горничных. Потом, надумав, что дочь украдена кем-либо из недругов-соседей, стал ходить на них, по очереди, войною и вешать их на воротах их собственных замков, пока не нашелся удалец, который сам пошел войною на графа и, взяв башню, самого графа повесил на её воротах. Удалец этот был никто другой, как вернувшийся из Святой Земли жених пропавшей графини. Он страшно обиделся, что понапрасну приехал из такого далека, не поверил, что

его невесту украли, ни что ее съели волки, а почел свою честь восстановленной, только увидев нареченного тестя в петле. Башня ему по нравилась, и он стал в ней жить, наняв себе латников покойного графа.

А графская дочка – довольная и спокойная – покоилась на ложе из мха и прошлогодних листьев, оцепенелая в долгом сне любви, потому что в это время над землею трещали морозы, а зимою деревья, вместе с гениями, дающими им жизнь, спят, как сурки и медведи...

Пришла весна, и – с первым криком грачей – стал оживать старый дуб; медленно-медленно просыпался он; отшумели снежные ручьи, сошли подснежники, соловей зацелкал в листьях березы, уже с зеленый грош величиною, – тогда прокатился первый гром. Заквакали над озером первые лягушки, и старый дуб развернул первый новый лист... И в тот же миг оцепенелый дух приподнялся на своей подземной постели – и радостными помолодевшими глазами переглянулся с проснувшейся женою.

В синие майские ночи графская дочь под-

нималась на поверхность земли и, как русалка, качалась на ветвях своего дуба, играя туманом и лунным лучом. Она чуяла, как листья наливаются соками, как корни, подобно насосам, тянут влагу из земли, как медленно всасывается она в старые жестокие поры ствола и сучьев. Черемуха, рябина и дикая яблоня дышали на встречу её радостному, свободному дыханию. Соловей на березе свистал, урчал и злился, что, как ни старается, не может перепеть соседа в ближайшем ореховом кусте. Бывало иной раз так тихо, что графская дочь слышала плеск весел внизу на озере и, с дальнего берега, тягучие песни рыбаков, чьи костры дрожали двойными красными звездочками – в ночи и в озере. Гудели хрущи, гремел лягушечий хор; рогач летел высоко и стоймя, как маленький дьявол. Все шумело и пело о новой жизни, и новой жизни улыбались сверху помолодевшие звезды... Белая женщина в ветвях дуба слушала, смотрела, обоняла, и ей было хорошо и полно, – и она чувствовала себя одною душою с весеннею природой, потому что и внутри себя она чувствовала трепет новой, нарождающейся жизни.

ни...

Два всадника мчались лесною тропою. Один был новый владелец башни. Другой – его капеллан, угрюмый, босой монах в коричневой рясе. Он презрительно смотрел на расцветшую природу; её радость казалась ему грехом и соблазном. Он не понимал хвалы Богу в цветении трав, в пении птиц, в солнечном луче, в глубокой синеве неба, – он умел славить Его только сталью, красною от крови еретиков, и смрадом костров, на которых жарились живые язычники. Взгляд капеллана скользнул по кудрявой шапке старого дуба и омрачился. Монах сказал:

– Вот еще один из кумиров невежества. Господин! давно пора положить конец суеверному почтению, какое оказывают этому языческому дереву твои подданные, оскорбляя тем церковь и добрые нравы. Подари мне этот дуб! – я его уничтожу.

– Возьми, – сказал рыцарь, – мой предшественник, граф, повешенный мною на воротах башни, дорожил этим дубом, потому что дуб значился у него на гербовом щите. Но у меня нет дуба в гербе, и мне столько же дела

до этого дерева, как до прошлогоднего снега.

И, привстав на стременах, он хватил боевою секирою по суку, растопырившему над дорогою лапы-листья.

В этот вечер муж явился графской дочери без кисти на обрубленной левой руке. Он сказал:

– Судьба велит нам расстаться. Мы – духи лесов – живем, пока живут наши деревья. Деревья живут, пока мы живем. Сегодня меня тяжело ранил твой бывший жених. Завтра меня вовсе срубят, распилят и сожгут. Я умру. Но ты не должна погибнуть. Вместе с утреннею зарею оставь меня и иди в лес навстречу солнцу. Ничего не бойся. Я буду смотреть на тебя через деревья, потому что я выше всего леса. Но когда ты оглянешься и не увидишь меня, значит, – меня уже не будет на свете. На опушке леса ты найдешь хату угольщика; его семья чтит меня и приносит мне дары. Скажи этим людям, что уходят из мира древние боги, умер старый дуб и завещает им хранить свою жену и своего ребенка...

Напрасно графская дочь плакала, умоляла мужа, чтобы он позволил ей остаться и разде-

лить его судьбу. С утреннею зарею он указал ей звериную тропку, по которой ей надо было пробираться. Она шла и все оборачивалась, и все видела над лесом могучий лиственный купол старого дуба. Видела его в розовых заревых красках, в золотом блеске полдня... он стоял круглый, неподвижный... Потом он вдруг как будто скривился на бок... Графиня прошла еще несколько сажен – сердце её крепко билось – оглянулась: нет, это только так странно видно, – дуб живет!.. Оглянулась еще раз: лиственного купола уже не было над лесом, – а дубрава глухо ахнула в ответ падению векового богатыря...

Угольщик подобрал в лесу бесчувственную женщину и с удивлением узнал в ней без вести пропавшую графскую дочь. В его хижине она разрешилась от бремени мальчиком и умерла. На груди ребенка было странное родимое пятно – в виде дубовой ветки с гроздьёю желудей. По этому знаку и по предсмертным признаниям его матери, мальчика прозвали Дубовичем. Это и был Само Дубович, первый из рода Дубовичей, до сих пор могучих, богатых и славных – одни в Галиции, другие на

далеком Далматском побережье.

Ветла[8]

(Малороссийская сказка)

Давно это было.

Встал от Чорниго моря сердитый ветер и почал он дуть в широкие лиманы. Ни быстрому Днестру, ни светлому Бугу, ни самому батьку старому Днепру, не стало прежней воли изливать в глубокое море могучие, полные воды, и попятили реки свое течение и, осерчав, высоко подняли над берегами мутные, буйные валы. Днестр слился с Бугом, Буг – с Днепром, меньшие реки пошли за старшими братьями, и – гой-гой! – где степь была, разлилось другое море. Где ходили с скрипучими возами круторогие волы, где добрые молодцы чумаковали, по тем шляхам поплыли нынче осетр да белуга, хлопая глазами на невиданные земные чуда, что потопили собой полые воды: на хаты и церкви, на стада и пашни, на вишневые садочки и бахчи с гарбузами, на млины[9] и ветряки, на казака с люлькой, на бабу в запаске, на младенца в зыбке, на жида в корчме.

Много людей потонуло, а много и живыми

унесло в свой простор сердитое море. Не чернь видна над водой – виден малый плот портомойный, а на том плоту – баба. Как стала вода подниматься, была та баба на реке; мыла, вальком колотила мужнину сорочку, ударила сизая волна и оторвала плот... Поплыла баба, как была, с вальком и сорочкой, далеко-далеко, не весть куда, – аж в те земли, где солнышко домует, где оно, красное, после жаркого дня, ложится отдыхать на зеленую мураву под бирюзовое небо. Солнце спит, а месяц вокруг его постели дозором ходит – смотрит, чтобы частые звездочки, что малые ребята, не игрались, свет-солнышко своим баловством не будили.

Как попала баба в неведомое солнечное царство, обомлела и чуть жива осталась; такие чудеса увидала! Но потом опамятовалась, осмотрелась, пораздумалась, и стал ей не мил белый свет; дитыну она загубила, чоловика потеряла, батько с маткой далеко, а кругом – хоть бы жив человек! Только месяц по небу ходит и косится на бабу желтыми глазами.

– Доселе у нас человечьего духа было ни чохом учуять, ни слухом услышать, ни очами

узреть, а теперь – на, поди! живьем взялась к нам откуда-то бисова баба.

Ходит месяц, думает эту думу и молчит. И все молчит. Деревья не шумят, вода не плещет. Ударилась баба грудью о мать сыру-землю и завывала:

– Горькая ты, моя доля! зачем я, дура-баба, жива осталась? Лучше бы мне – сироте – прыгнуть с плота к рыбам в сине море... Ой, лищечко!.. Где дитына моя, где дружина моя?

Воет баба не час, не два, а целую ночь; воет так, что звездочки мигают с перепуга и шепчут одна другой:

– Ах, ребятки, разбудит она нам светлое солнце!

Потянулось солнышко на своей муравчатой постели и брызнули по миру золотые лучи; приподнялось оно, оперлось подбородком о землю, строго глянуло по небу ясными очами, – и месяц потускнел и побледнел, как виноватый, звездочки трусливым стадом побежали с неба, а облака на дальнем востоке покраснели, точно застыдились: как же это вышло, что не дали солнышку покоя? в какую рань заставший его начать красный день!..

Обробела баба. Еще бы! – стоит пред нею само светлое солнце, что добрый казак, и во все глаза на нее дивуется – смотрит.

– Зачем ты, дурная баба, кричишь? разве не нравится тебе здесь? боишься, что плохая жизнь будет? Э, нет! твоя Украина пред моим царством – что зима пред летом. У меня здесь ни голода, ни холода, ни нужды, ни работы, ни сева, ни неурожая, ни податей, ни рекрутчины: живи, как у Христа за пазухой! А ты плачешь и разбиваешь мне сон! Подумай: хорошо ли мне, солнцу, ходить по твоей милости заспанному, точно парубку с похмелья? Путь мой над землей великий, и всякие меня народы видят, а у меня очи липнут, века к веку, словно мне их кто-нибудь медом смазал!

– Ой, как же мне не кричать, светлое солнце? отвечает баба, – нема у меня дружины моей, ни дитыны моей, нема батьки, нема матки, ни белесенькой хатки! Осталась я, одинокая, сиротой на свете.

Задумалось солнышко и, подумавши, говорит:

– Тронь-ка левою рукой вон то дерево...

Тронула баба дерево рукой, эге! дерева как

не бывало, а вместо его – высокий воз; на возу сидит, бублик грызет; за возом чумак бредет; смоляная рубаха, дегтевые шаровары, в зубах люлька... идет да на волов покрикивает: «цоб! цоб! – сивы-крутороги!...»

– Та то ж мий Опанас! – вскричала баба, а чумак крикнул волам: «цоб! тпру!... тю вам скаженые!»[10] – воткнул кнут в землю и говорит:

– Ото добре, жинко, что ты не утопла, бо я вышел в дорогу, не поснидавши, и есть хочу, як наш Рябко, бисов цюцик. Топи, моя ластовка, печь, да корми чоловика борщем.

Зажил Опанас с жинкой и дитыной на краю света, как в царстве небесном. Только долго ли, коротко ли, заскучал он без людей:

– Что то за край? жалуется – ни базара, ни соседей, ни шинка нет... Здесь помрешь от скуки и помянуть тебя будет некому!

И принялся он, чтобы не скучно было, колотить свою жинку. Жинка – в слезы, и так как вышла у них тамаша ночью, то солнышко опять переполошилось.

– Ну, в чем дело? ♦ закричало оно с муравчатой постели на Опанасову жинку, – или

мне опять подниматься с первыми петухами? Чоловик у тебя есть, дитына есть, – кого еще надо?

– Никого мне не надо, светлое солнце, – разве что не будет ли твоя милость подарить мне пару молодич-соседак, чтобы было мне, горемычной, с кем слово перекинуть, кому пожаловаться на разбойника-мужа. Бо чоловик мой – как на родине был шибеник[11] и пьяница, так и здесь остался: встосковался он, катовой души вира[12], по своей висельной компании, а мои ребра в ответе.

– Дурная! сказало солнце, – разве я не показал тебе дерева, из которого можно сделать, какую хочешь компанию? Ступай, уйми своего Опанаса, и – чтобы я вас не слыхало больше? – не то худо будет.

Опанас, побив жинку, уснул. Проснулся: глазам не поверил: народу кругом – целый табор! Да все знакомые, да все камрады-приятели! Вот и пан-голова, и пан-староста, и сосед Охрим Козолуп с жинкой и молодым Козолупенкой, и кум Остап, и старый корчмарь Иосель Бен-Дувид со своею балабуштой[13] и жиденятами: стоит на ковре, таласом на-

крылся, заповеди на лоб навязал, – молится... Ге-ге-ге! то-то славно! все село, что потонуло там, за синим морем, воскресло и стоит на ногах, как живое...

И начали те люди все вместе жить-поживать и добра наживать. Что день, то больше их в солнечном царстве: растут, как грибы. Понадобится казаку наймит, хозяйке – наймичка, – бьют челом Опанасовой жинке:

– Пани-матко! будьте ласковы – дайте доброго парубка или добрую девку к нам во двор!

Пойдет Опанасова жинка в лес, дотронется до дерева, что ей солнышко показало, – «вот вам и наймит с наймичкой, добрые люди!»

Сады развели, копанку[14] вырыли, церкву выстроили, млин поставили, Иосель шинок открыл. Не житье, а масляница!

Пришел большой праздник Святая Троица. Разрядилась Опанасова жинка: запаска клетчатая, кирсетка[15] лучшаго зеленого сукна, вся красными цветами расшитая, квартух и белые рукава – в шелку, всеми колерами отливают, коралловое намисто с дукачем, – король, а не баба! Идет она в церковь, выступа-

ет червонными чоботами на серебряных подковках, – все ей дорогу дают, шапку пред ней ломают, кланяются ей в пояс, потому что как же детям не почитать мать родную? А ведь, ежели рассудить по правде, то Опанасова жинка была всему саместо матери.

И вот входит баба в храм Божий и видит: на её месте – самом почетном, первом от амвона – стоит незнаемая молодлица, такая видная из себя, большая, да тучная, а лицо темное, как у волошки, и суровое; брови над переносьем срослись.

– Посторонись! – сказала Опанасова жинка.

Молчит молодлица, будто в рот воды набрала, и ни с места. Разгорелось сердце в Опанасовой жинке.

– Кто ты такая, молодлица? говорит она, – откуда ты взялась, что вздумала ставить мне ногу на чоботы? Знать бы сверчку свой шесток, так оно, пожалуй, и лучше было бы!..

– Оставь меня, баба! ♦ утрюмо ответила молодлица, – и тебе, и мне оттого лучше будет...

– Как не оставить! – поди прочь с моего ме-

ста! Я постарше тебя.

– Неправда твоя, Опанасова жинка! все так же важно возражала суровая молодлица, – и старше я тебя, и большего почета стою.

Засмеялась Опанасова жинка.

– Горазда ты шутить, красавица, да шутки-то твои некстати! – видишь, сколько здесь народу? Все это мои дети, и все они, как одна душа, почитают меня за мать, а ты можешь ли похвалиться по-моему?

– И детей у меня побольше твоего, Опанасова жинка! Не простую молодлицу ты видишь пред собою, а самое Мать-Сыру-Землю.

Испугалась Опанасова жинка, отступила было... но бабье сердце взяло верх над разумом.

– А мне-то какое дело? – вскричала она со злом, – хоть бы ты и в правду была Мать-Сыра-Земля? Не я к тебе, а ты ко мне пришла, незваная, непрошенная, да еще меня, хозяйку, с места сгоняешь! Ступай прочь! Я здесь пани, а тебя мы не знаем и знать не хотим!

И столкнула Мать-Сыру-Землю с первого места. Посмотрела на нее Мать-Сыра-Земля глубокими, темными очами, и – точно желез-

ные брусья покатались с каменной горы – зарокотал её голос:

– Неразумная ты, кичливая баба! не умела ты почтить меня у себя, так я же по-своему почту тебя в своем доме, и не вырваться тебе из моих рук во вечные веки!

Бросилась Опанасова жинка бежать, – не тут-то было: ноги – как приросли. Смотрит она вокруг себя мутными от страха очами: ни церкви, ни народа. И вдаль, и вширь тянется зеленая равнина; кулики перелетают с одной торфяной кочки на другую; небо серое, да кислое – точно на Литве. Глянула баба на себя: ноги погрузили по колено в мягкое болото, серая кора ползет от земли вверх по белому телу... доползла уже до пояса... Еще немножко, – и будет Опанасова жинка не баба, а дерево: то самое, из какого она воскресила в неведомом краю свою деревню.

Взмолилась бедная баба:

– Мать-Сыра-Земля, прости: не губи меня безумную!

И снова пророкотал железный голос:

– Не я тебя гублю – губит тебя похвальба твоя! Не хвалиться бы тебе своими детьми,

взятыми из ветлы, не была бы теперь сама ветлою.

И одела серая, серебристая кора Опанасову жинку: тело стало стволом, ноги – корнями, поднятые к небу, руки – двумя толстыми вилками, – волосы, что в предсмертный час дыбом стали, – тысячью молодых побегов. Вместо бабы, поникла над болотом седая, раскидистая ветла.

От той ветлы и пошли вётлы по всему Божьему миру; сколько детей было у Опанасовой жинки, столько и деревьев родилось от того дерева; и, как легко Опанасова жинка переделывала ветлы в людей, так же легко принимаются всюду ветловые побеги.

Воткни осенью в землю на берегу става[16] или у криницы ветловый киек: он зазеленеет к весне. Год, другой, третий, – глядь, над твоим тихим ставом, уже наклонилась круглым шатром красивая, развесистая ветла. Наклонилась, стоит, как из серебра вылитая, и, трепетно шумя под ветром своею бледно-зеленою, с проседью, листвой, словно поминает далеко прошлое, плачется на свою горе-горькую судьбу.

Светлый праздник

(Норвежская легенда)

*Олаф на лихого садится коня
Вонзает в бока ему шпоры
И скачет, оружием тяжелым зве-
ня,
От моря в далекие горы.
И море, с любимцем своим рас-
протясь,
Во след ему воеет сердито...
«Уж нам не вернуться ли, сол-
нышко-князь?»
Олафу твердит его свита:
«Ишь море, седые гоня валы,
Как мечется, плачет и стонет,
Солеными брызгами моет скалы
И в пене их белой хоронит!
«Твой конь, как поехали мы из во-
рот,
Сегодня споткнулся впервые,
Над нами летали всю ночь напро-
летъ
Пророками сны роковые.
«Сквозь сон мы слышали, что
твой волкодав
Выл воймя до самого света, —*

Не ездй, вернйсь, могучй Олаф!
Недобрая это примета!»

– Эх, что мне приметы и вещи
сны!

Над нами Христос и Георгий.
Спешу я на праздник любви и вес-
ны

К невесте моей Ингеборге.
Закон – обещанье княжное моё,
А я дал ей клятву святую!

На празднике светлом Христо-
вом её

Я первый в уста поцелую!...

Уж моря не видно. Тропинкой кру-
той

Взбирается витязь на горы.

У скал-исполинов – ручьи под пя-
той,

На темени – черные боры.

Склоняют зеленые чёла свои,

Высокие сосны в печали,

Как будто советуют шепот хвои:

Эй, витязь! не ездить бы дале!..

Олаф беспокойный, быстрее огня,

Летит чрез сосновик и ельник —

Трещит бурелом под копытом
коня,

Сгибаясь, хрустит можжевель-

ник.

Но вот захрапел его конь вороной,
Бледнеют у спутников лица...

Он видит: сидит под зеленой сос-
ной

Красавица, эльфов царица.

– «Привет мой Олафу, потомку
богов,

Воителю, славному в мире!

Пожалуй к царице лесов и лугов

На вешнем пображничать пире.

Тебя напою я, могучий Олаф,

Медвяною пьяной росой,

На ложе душистом из моха и
трав,

Хмельного, тебя успокою,

«Тебе на забаву, все эльфы мои

Промчатся в таинственной пляс-
ке,

Журча, пролепечут лесные ручьи,

Тебе вдохновенные сказки;

«Мы вместе с тобою уснём при
луне,

В немом обаянии страсти...

Олаф благородный! как дорог ты
мне.

Сказать не имею я власти!»

– Красавица-эльфа! спасибо за

честь!
За пиром твоим мне не место:
Давно меня ждет нареченный
мой тесть,
Тревожится-плачет невеста.
Закон – обещанье княжское моё,
А я дал ей клятву святую:
На празднике светлом Христо-
вом её
Я первый в уста поцелую!
На что мне твоя неземная лю-
бовь?
Не в силах тобой обладать я:
Сжигают в груди человеческой
кровь
Волшебные эльфы объятья!..
– «Прощаю тебя, благородный
Олаф,
Что мне отвечаешь ты грубо?
Ты едешь к невесте, ты любишь...
ты прав:
Ступай! заждалась твоя любя!
Склонися ко мне с вороного коня!
Расстанемся дружно, по чести:
Приветный свежи поцелуй от ме-
ня
Своей несравненной невесте!..»
Олаф наклонился с седла своего

И эльфу смеясь обнимает, —
В уста она крепко целует его
И нож ему в сердце вонзает!
И вскрикнул Олаф, и поник над
седлом.
И ахнула в страхе дружина...
Конь бешеный скачет в лесу на
пролом
И мертвого мчит господина;
Дружина, за князем убитым, в
опор
Напрасной погоней несется,
На вопли её отзывается бор —
И злобная эльфа смеется!

Средневековые тени

(Фламандские легенды)

1. Как прежде мстили

— **П**окричи еще, сорванец, покричи, покричи у меня. Вот придет Мария Магро и возьмет тебя в мешок.

Так унимают во Фландрии капризных ребят, когда они орут во весь рот, и нет на них никакого утомона. И редкий баловник не стихает после угрозы. Дитя робко прячется в юбки матери и лепечет:

— Я больше не буду. Не надо, не зови Марию Магро.

Мария Магро – не бука, не кикимора, ни итальянская, ни брокенская ведьма, ни какое-либо другое фантастическое чудище из детских сказок. Фламандцы – народ положительный, и дети у них положительные. Чтобы настращать фламандское дитя, мало небылиц. Ему нужно пугало реальное.

Мария Магро – фигура историческая. Она жила в XIII веке, и ужасная жизнь её кончилась ужасною смертью.

Отец её, Жак Магро, был дворянин и раз-

бойник. Впрочем, по тому грозному времени, это – плеоназм[17]. Если не каждый разбойник был дворянином, зато каждый дворянин был разбойником.

Единственной хорошею чертою в тогдашнем обиходе разбойников-дворян было – что, весьма усердно враждуя между собою за право добычи, кому резать купечество и прочий недворянский народ, они, в ярой ненависти своей, незаметно перерезали друг друга.

Магро резались с де-Мавуази. В один грозный день, Жак Магро взял штурмом замок Жана Мавуази, убил врага и – весь еще в крови – осквернил на трупе Мавуази жену его, тяжелую в последнем месяце. Несчастливая разрешилась от бремени мальчиком и умерла. Предсмертный ужас матери отразился на теле младенца: на груди у него оказалось родимое пятно, красное, как кровь, в виде руки, сжатой в кулак.

По непостижимому недоразумению, Жак Магро не догадался разmozжить ребенку голову. Кто-то из родни Мавуази взял дитя к себе на воспитание. Мальчика окрестили и назвали по отцу Жаном. Он вырос, узнал историю

своих родителей и сделался оттого очень задумчив. С двенадцати лет он только и мечтал, что о мести.

Его одобряли, но находили, что он слишком медлит. А юноша, возражая, повторял:

– Зато я вам покажу, как люди мстят.

Когда чёрт стареет, он идет в монахи. Вступив в пожилые годы, Жак Магро разорился, потерял в чумную эпидемию жену и детей, кроме одной дочери Марии, принял эти несчастья за насланное наказание Божие и сигнал к раскаянию, – и удалился от мира. Монашеского сана его, как злодея с слишком кровавым прошлым, не удостоили. Он выстроил себе пустыньку, на краю болота в Селле – вблизи проклятого урочища, прозванного Дырою в Ад, – и жил отшельником, труся смерти, вздыхая и молясь. Дочь его Мария жила при нем.

Мария была девушка красивая, резвая, небольшого ума и легкомысленная. Отец любил ее без памяти, а ей, конечно, было скучновато хоронить молодость среди болотных туманов Дыры в Ад, и хотелось ей и себя людям показать, и самой людей посмотреть.

Привязанность к отцу долго сдерживала её легкомыслие. Но однажды в пустыньку зашел на ночевку молодой пилигрим, писанный красавец собою. Мария влюбилась в него, по первому взгляду, по уши. Проснувшись на завтра утром, Жак Магро не нашел в пустыньке ни гостя, ни дочери. А на столе лежал кусок пергамента, писанный киноварью, точно красною кровью:

– Если хочешь знать, кто взял дочь твою в любовницы и увел от тебя, так это я, Жан де Мавуази, сын Жана де Мавуази, убитого тобою.

Старика разбил паралич. Он еле-еле оправился и жалко доживал свой одинокий век, не двигая одною рукою, волоча онемелую ногу.

Минуло два-три года. Ни о Жане де-Мавуази, ни о Марии Магро не было ни слуха, ни духа. Только и новостей было в краю, что внезапно появилась новая разбойничья шайка, которая грабила богомольцев, направлявшихся на поклонение Марии Всемилосердой, Богородице Камбрейской. Шайка совершала ужасы жестокости и разврата, и женщины,

которые были в ней, казались дьяволами еще больше, чем мужчины. Шайка руководилась опытным, старым негодяем и была неуловима. Говорили только, что притон ее где-то близ Дыры в Ад.

В одну ночь разбойники напали на пустыньку Жака Магро, связали отшельника и стали допрашивать, где деньги. Привела негодяев женщина – пьяная, полуголая, развратная баба, кричавшая сильным голосом ругательства, богохульства и скверные слова.

– Я ведь помню, Феликс, – говорила она атаману, – у него были деньги. Старикашка прятал их в землю, под уксусным бочонком.

И с диким хохотом кричала несчастному Жаку Магро:

– Не дурачьтесь, родитель. Показывайте, где ваши сокровища. Али не узнали? Ведь это я – ваша дочка, Мария, – пришла к вам за своим приданым.

Старик взгляделся в ведьму и испустил ужасный вопль: в её чертах, искаженных вином и болезнями, он, действительно, увидел личико своей Марии, еще недавно такое милое и невинное. От волнения у него отнялся

язык. Он страшно глядел и не в силах был произнести ни слова.

Но Мария сказала:

– Нет, папаша. Это – дудки. Вы у меня заговорите и даже запоете.

И она, разув его, собственными руками воткнула ему между ножными пальцами горячие угли с очага и, взяв мехи, раздувала накал, чтобы не гасли. Мясо трещало, смердело и лопалось, а мученик ревел нечеловеческим голосом, но слов у него не было. Негодяйка со своими приспешниками мучила его целую ночь, и только заря прогнала гнусную шайку в её трущобы.

А к вечеру того же дня, в пустыньку чуть живого Жака Магро зашел пилигрим. Ничуть не удивило его жалкое положение отшельника, и не подал он помощи бедному старику, а сел у ног его и долго смотрел на него с свирепою улыбкою.

Потом сказал:

– Ну, что? Как понравилась тебе твоя дочка, Мария Магро? Неправда ли, я воспитал из неё премилое создание?

Больной затрясся всем телом, а пилигрим

продолжал:

– Она, как ты видел, любовница атамана Феликса Воловьей Кожи. Промышляет воровством, – когда случится, убийством, – гадает, торгует приворотными зельями, ядами и делает женщинам выкидыши. Тебе, конечно, очень приятно быть отцом такой дочери, Жак Магро?

– Кто ты? – нашел в себе силы простонать мученик. Пилигрим расстегнул свой балахон и гордо показал знак кровавого кулака на косматой груди:

– Я Жан де Мавуази, сын Жана де Мавуази, убитого тобою.

Долго и беспощадно издевался он над стариком, язвя и сожигая его словами больше, чем Мария жгла раскаленными углями.

Наконец, встал и сказал:

– Я вижу, ты мало внимателен ко мне. Извиняю тебе, потому что, кажется, эта ветренная дрянь, Мария, поступила с тобою очень грубо, и ты жестоко страдаешь. Обещаю тебе, что твое несчастье не останется без отмщения. Я донес суду, где скрывается шайка Феликса, и великий прево уже выслал отряд

арестовать злодеев. Ты будешь иметь удовольствие видеть, как станут вешать твою непокорную дочь, и, надеюсь, это зрелище порадует твое родительское сердце.

И ушел.

А на завтра пришли четыре солдата, взяли Жака Магро, положили на носилки и отнесли в Камбрэ, на Проклятую площадь, где казнят смертною казнью. И видел Жак Магро, как палач вздернул Марию на веревку, и читал ярлык на виселице:

– Распутница, душегубица и чародейка.

И умер Жак Магро, и солдаты оставили тело его валяться на площади, как падаль. Вскоре напала на Камбрэ лютая болезнь. Дети пухли горлом, сгорали в жестоком жару и умирали.

– Колдовство, – кричал народ. А Жан де Мавази ходил по домам и говорил:

– Поверьте: это – чародейка Мария Магро встает из земли, пожирает наших детей, крадет младенцев из материнской утробы. Она вампир. Надо разрыть её могилу, отрубить ей голову, пробить сердце осиновым колом, потом сжечь труп на костре и пепел развеять по

ветру.

И пошли духовенство и суд, и вырыли тело Марии Магро, и отлучили ее от жизни вечной, и сожгли труп на костре, и пепел развеяли по ветру. И вся Фландрия проклинала Марию Магро, и странные сказки пошли по стране об её блуждающем безобразном призраке-пожирателе детей. И имя Марии Магро навсегда осталось пугалом и ругательством во Фландрии.

Вот когда Жан де Мавуази весело потерял свои красивые, белые руки и сказал:

– Ну, кажется, теперь я доказал, что умею мстить, и отомстил хорошо.

После того он уехал в город Мариенбург, к великому магистру, в рыцарский орден, чтобы биться с язычниками, и был честный рыцарь. Литовцы убили его каменным ядром в лоб и все о том очень жалели. Он мог бы быть комтуром и не оставил потомков. Господи, спаси его душу.

2. Симон Проклятый

Монсиньор Гюи Виллерс-де-Утрео, старый воин, храбро дрался с неверными в Палестине. Не спроста попал он в крестовый поход –

по обету, за здоровье единственной дочери своей, красавицы Алисы Виллерс-де-Утрео, данному, когда бедняжка болела тяжкой болотной лихорадкой.

Как вернул Бог здоровье дочери, сир Гюи распродавал почти половину своих земель, вооружил на вырученные деньги восьмерых дюжих молодцов и отбыл. Дочь он поручил Петру Бометцу, своему старому капеллану, человеку святой жизни и испытанной верности. Кроме того, он поставил свои имения под покровительство Воссельскаго аббатства, которому подарил за то изрядный кусок земли.

Четвертый год рыцарь сражался в Святой Земле, а дочери его – на родине – было худо. Чуть уехал старый Гюи, набросились на его землю разбойники – соседние дворяне. Грабили без стыда и совести все, до чего рука хватала, и не было на них ни суда, ни управы. Потому что сюзерен страны, монсеньор Алларий, дряхлый архиепископ Камбрейский, умел читать только нравоучения, а его отчаянные вассалы не очень-то боялись и петли.

Долго пили сирота и опекун её горькую чашу обид и притеснений, – наконец, слышит

Петр Бометц: вернулся в свои владения Гильом сир де-Коньикур, могучий и честный герцогом, друг императора Фридриха I, брат по оружию сира Гюи из Утрео. И поклонился Бометц сильному соседу о защите, и отвечал монсеньор де-Коньикур:

– Привези Алису в мой замок. Вечным спасением клянусь, что осушу слезы дочери престолонаследника, и – горе негодяю, который посмеет тронуть ее земли. Назови меня последним подлецом и предателем, если я и жена моя, благородная Изабелла де Бетанкур, не примем ее, как родную дочь, и не дадим ей всего, что прилично девице высокого происхождения.

Вот повез Петр Бометц Алису в замок Гильома де-Коньикур. Так как путь лежал недалеко, то ехали они вдвоем, без стражи, верхами.

И, – не доезжая замка, на лесной тропе, – два пьяных всадника загородили им путь. Один был рыцарь, а другой – его ловчий. Еле держались они на седлах от вина и заговорили к капеллану и спутнице его бесстыжие речи. Когда же монах укорил их и требовал сво-

бодного пути, негодяи сбросили его с коня. Петр Бометц ударился теменем о пень и, не пикнув, умер. А бедняжку Алису разбойники утащили в лес. На завтра нашли в трущобе её труп; она была обесчещена, и на горле её зияла глубокая рана.

Народ говорил:

– Знаем, чей тут грех. Это сработали пьяница Симон – недостойный сын Гильома де-Конькура – и его дьявол-конюх Амальрик. Недаром видели их вчера, как они, будто черти, в перепуге мчались на взмыленных конях из леса к замку.

И окружил народ замок де-Конькур, и потребовал мести.

И, так как они очень шумели, грозили топорами и вилами, бросали в стены замка камнями и грязью, то убийцы очень испугались. Они велели поднять крепостные мосты, запечатать ворота, протянуть цепи и расставить рогатки. Народ же, видя это, еще больше убедился в преступлении и, выставив вперед носилки с двумя мертвецами, взывал о мести.

– Сир Гильом де-Конькур, дай стране правый суд. Сир Гильом де-Конькур, покажи,

что нет пристрастия в твоём рыцарском сердце.

Тогда вышел к народу сам старый честный сир Гильом де-Коньикур – один, без панциря и оружия, и плакал над трупами, и клялся отомстить преступление беспощадной местью. И народ разошелся, успокоенный, потому что знал, что слово сира Гильома твердо.

Задрожал Симон, как отец позвал его на расправу. И стал он тянуть алое вино, чтобы вернуть себе храбрость. И, опьянев, пошел к отцу. А негодный конюх Амальрик прокрался, следом за ним, в покой сира Гильома де-Коньикура, спрятался за колонну и слушал.

Так говорил сыну сир Гильом де-Коньикур и трясся от гнева.

– Ты убийца, подлец и предатель. Ты годен только на то, чтобы убивать попов по дорогам, насиловать девчонок по лесам, да удирать от мужиков, когда они грозят тебе дрекольем, бросают в тебя камнями и грязью. Не рыцарские шпоры приличны тебе теперь, а тонзура монаха. Ступай, постригись и проводи в покаянии остаток преступных дней. Проклят ты мною и на этом, и на том свете. Ниче-

го ты от меня не получишь. Все свое имущество я жертвую Воссельскому аббатству – на вечный помин по душам девицы Виллерс де-Утрео и капеллана её, несправедно тобою убитых.

Спьяну Симон расхрабрился и стал наступать на отца и кричать:

– Этого ты не сделаешь. Я не позволю. Этого не будет.

А старик вспылал и ударил его по лицу перчаткою. Тогда Симон выхватил кинжал, а конюх Амальрик выскочил из засады и набросился на сира Гильома де Конькикура с боевою секирой. И убили они старого рыцаря вдвоем, – сын и слуга, – и, отрезвев только после преступления, стояли в безумии, не зная, что теперь делать.

Амальрик предложил:

– Бросим его в ров, с подъемного моста. Никто не увидит нас, кроме часового, а этого убрать будет уже мое дело. Когда труп найдут, мы скажем, что сира Гильома убили вассалы девицы Виллерс де-Утрео, в отпущение за гибель своей госпожи, и все нам поверят.

Так они решили сделать, и все им удалось.

Только – труп, брошенный с моста, не тонул в полном водою рву, но, упав на мелкое место, стал стоймя и торчал, – прямой, как бревно, с черным лицом, весь в крови... и руки его были простерты вперед, точно мертвец все еще проклинал сына. Это имело такой безобразный и страшный вид, что Амальрик закричал благим матом и убежал, куда глаза глядели. Никогда и никто уже не встречал его в тех местах; Бог весть, куда он сгинул со света. А Симон – наоборот – потеряв присутствие духа, не мог сдвинуться с места. На рассвете его нашли на валу: он стоял – дыбом волосы – как оцепенелый, и смотрел, дико вытаращив глаза, на страшный труп, все простиравший к нему окоченевшие руки. Напрасно звали его, – он не видел и не слышал. Кто-то осмелился коснуться руки убийцы: тогда неподвижность его объяснилась, – он был мертв. Все разбежались в ужасе. Замок опустел, как от чумы. Отцеубийца и жертва его так и остались стоять навеки один против другого. Никто не решился придти их похоронить.

Замок оставался пустым и проклятым местом двести лет. Наконец, он достался по на-

следству сиру Жаку Балдуину де-Виллерс Камбрезийскому. Любопытствуя проверить родовую легенду, он исследовал замок и – в иссохшем рву старинных укреплениях, нашел человеческий скелет, в стоячем положении, с грозно вытянутыми вперед руками. А, в недалеком расстоянии, – с вала, – другой стоячий скелет, казалось, еще смотрел на свою жертву, в движении ужаса и отчаяния. Тогда сир де-Виллерс, призвав приора из Воссельского аббатства, приказал ему отслужить панихиду за упокой души сира Гильома де-Конькура и окропить оба скелета святою водою. Они распались прахом. Замок стал обитаем. И, лишь в ночь преступления, проклятая душа Симона, из года в год, возвращается из ада и сидя на крыше, уныло воеет в трубу. А, впрочем, это – может быть, и кошки.

3. Царевна Аделюц

На берег моря царевна идет, гордая Аделюц, белокурых фризов царевна. Собирать пестрые раковины она идет, янтарь, водяных коней и морские звезды. Потому что силен был утренний прибой, и все отмели чудами с глубокого дна покрылись.

Странная птица у моря сидит – смотрит на Аделюц дикими глазами. Как темная ночь, черны крылья её, и дыбом торчат, все врозь, на ней перья. Пламя сверкает в мрачном взоре её, и рост её – рост богатыря-человека. Зеленый труп держит птица в когтях, и клюв её окровавлен.

– Здравствуй, Аделюц! Здравствуй, царевна-краса. Потому что красивее тебя нет девы на свете. Головою ты выше своих подруг: золотые косы твои падают ниже колена. Как первый снег на горах, ты бела, и розами цветут твои щеки. Перси твои – как две пенных волны, а глаза синее, чем море, где ловлю я бледные трупы.

Певцы о тебе по свету славу поют, за синим морем звучат о красе твоей песни. Только песню услышав, по песне одной, – храбрый викинг Айдар в тебя влюбился. Только песню услышав, по песне одной, – корабли он черные построил. Только песню услышав, по песне одной, – на кораблях он к тебе через море пустился. Но не викингу было тобою владеть. Клянусь, достойна ты лучшего ложа. И вихорь, и бурю ему я на встречу поднял, и ко

дну пошли корабли, и гребцы, и бойцы с кораблями. Захлебнулся студеною волною Айдар, и вот я, веселый, – сижую, клюю его белое тело.

К матери Аделюц в страхе идет, к Утэ-царице несет печальные вести.

– Страшная птица мне прокаркала их, страшная птица в черном оперенье. Был то, должно быть, сам дьявол из бездны морской или проклятый колдун, слуга адского мрака.

Утэ-царица, бледная, дрожит.

– Храни тебя, Аделюц, Бог, потому что тебе грозит великое несчастье. Не дьявол то был из бездны морской, но уж лучше бы он был сам дьявол.

Ворон морской явился тебе, страшная птица неведомой пучины. Несчастьем мореходов он живет, трупы утопленников – его пища. Холодом веет от крыльев его, ржавая роса каплет с его черных перьев. Смердною кровью обогрен его клюв, и вокруг него – воздух могилы.

Горе мужчине, который увидит его. Горькою смертью умрет он до скончания года. Горе женщине, которая увидит его. Горькою

смертью умрет она до окончания года. Горе девушке, которая увидит его, потому что она потеряет невинность.

И тебя, моя Аделюц, спасти я должна. Высокую построю тебе башню. И будет в башне светлица одна, и в светлицу тебя заточу я. Одно лишь окно в светлице прорублю, чтобы могла ты корзину опускать, – посылали бы мы тебе с земли пищу. Так будешь жить ты, Аделюц, целый год, покуда молитвы мои не снимут с тебя чар дурного глаза.

В светлице Аделюц на ложе лежит. Давно уже темная ночь землю кроет. Снежная буря вокруг башни гудит. Кто в оконце стучит, когтями царапает, кричит и стонет?

– Отвори, прекрасная Аделюц, отвори, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы ты меня любила. Сильно озяб я в снежной ночи, и крылья мои коченеют. Пусти меня, Аделюц, к тебе на кровать, обогрей на своей груди, в любовных объятьях.

– Не пущу я тебя на кровать, не стану греть на груди, в своих объятьях. Что мне до того, что ты любишь меня? Не бывать тебе мною любимым. Потому что я знаю: ты черный во-

рон морской, страшная птица неведомой пучины. Несчастьем мореходов ты живешь, трупы утопленников – твоя пища... Холодом смерти веет от крыльев твоих... ржавая роса каплет с твоих перьев. Смердящую кровью твой клюв обогрел, и вокруг тебя – воздух могилы.

– Пусть кровью мой клюв обогрел, пусть вокруг меня воздух могилы. Но за то я в пучине океана живу, и все богатства его мне известны. Если ты мне отворишь окно, если ты мне объятия откроешь, лучший перл я тебе подарю, – лучший перл, какой родила глубина океана.

Пусть холодом веет от крыльев моих, пусть ржавая роса увлажняет мои перья. Но зато я в подземных пещерах живу, и все их богатства мне известны. Если ты мне отворишь окно, если ты меня на грудь свою приymeшь, – лучший в мире рубин я тебе подарю, величиною в куриное яйцо, и красный, как адское пламя.

Пусть я несчастьем мореходов кормлюсь, пусть трупы утопленников – моя пища. За то я в подводных чертогах царю, и все их богат-

ства мне подвластны. Если ты мне отворишь окно, если ты меня любовью согреешь, – золотой пояс я тебе подарю, снятый с мертвой языческой царицы.

Тысячу лет, как утонула она, но ржа её пояса не съела. Красиво блестит он, как в первый день, и многих редких зверей изображают его звенья. Когда тем поясом обовьешь ты свой стан, солнце затмится пред тобою, а луна от стыда за себя не посмеет выйти на небе.

И встала с кровати Аделюц, и очень сильно было её искушенье. И красного рубина хотела она, и хотела драгоценного перла. Больше же всего ее пояс манил, пояс с редкими зверями, снятый с мертвой языческой царицы.

И отворила окно бедная, глупая Аделюц, и влетел к ней черный морской ворон. В тяжкие крылья он обнял ее и кровавым клювом уст её коснулся. И согревала она его на груди, – Господи прости ей её согрешенье.

Отец и мать пришли к царевне Аделюц, царь Марквард с царицею Утэ. И сильно были они изумлены, и долго в молчанье на дочь они глядели.

– Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты драгоценный перл, что сияет в твоей головной повязке?

– Грустно мне, девушке, в светлице, одной – горькими слезами в одиночестве я плачу. Из слез моих родился этот перл, – так диво ли, что он так велик и прекрасен?

– Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты кровавый рубин, что горит, как огонь, в ожерелье, на твоей белой шее?

– Солнечный луч я поймала решетом, заклятьями в камень превратила. Из солнечного света сделан мой рубин, – так диво ли, что он так велик и прекрасен?

– Отвечай нам, Аделюц, гордая Аделюц! Где взяла ты пояс золотой, что змеею вьется вокруг твоего стана?

Ничего тут не сказала Аделюц, и приступил к ней царь Марквард с грозным допросом.

– Отвечай мне, Аделюц, гордая Аделюц! Отчего так полон твой стань, и в глаза нам взглянуть ты не смеешь? Святым Богом клянусь, что преступна ты! Открой же нам твои вины и преступления.

– Прав ты, отец Марквард, и ты, царица Утэ, моя мать. Преступна я, и нет мне прощенья. Страшный плод я в теле ношу, и боюсь, чтобы не родился от меня дьявол. Потому что с морским вороном я спала, с страшною птицею неведомой пучины. Он бедою мореходов живет, трупы утопленников – его пища. Холодом веет от крыльев его, ржавая роса каплет с его перьев. Алою кровью обагрён его клюв. И вокруг него – воздух могилы.

От него этот перл и рубин, и золотой пояс снятый с мертвой языческой царицы. В снежную бурю ко мне он влетел, и я на груди его грела. И тело, и душу мою он погубил, – Господи, прости мне мое согрешенье.

Прошу тебя, добрый отец мой, царь Марквардъ: вели сложить костер во дворе твоего островерхого замка. И дегтем его вели осмолить, и соломы, и стружек насыпать. На костре должна я сгореть, и проклятый плод мой будет сожжен вместе со мною. На костре должна я, как колдунья, сгореть, потому что я зналась с нечистым бесом.

И горько плакал царь Марквард, и горько плакала мать, царица Утэ. И утирали они сле-

зы полами одежд, хотя у них были очень дорогие одежды.

И на костер прекрасную Аделюц взвели, и сожгли, так что и костей не осталось. И бросили в море пепел и золу, и проклинали нечистую силу.

Спаси нас от неё, святой апостол Матвей и Елена, мать царя Константина.

Закавказские сказания

Ариман

Усталые, продрогшие, брели мы, злополучные туробойцы[18], по гребню Куросцери – самому проклятому гребню на всем Кавказе! Снизу, от станции Казбек, он представляется чем-то в роде зубчиков валансьенского кружева, но в действительности от зубчиков-то этих и горе. О, Боже мой! Во сколько балок пришлось нам нырнуть! на сколько обрывов вскарабкаться! Влево от нас была пропасть, вправо – минуя голую, обвеянную ветрами, каменистую гряду – тянулась снежная равнина, еще недавнее пастбище туров; теперь им не под силу стало пробивать копытами крепкий наст, и умные звери перекочевали... куда? – Бог их знает! По крайней мере, напрасно проблуждав по вершине Куросцери двое суток, мы возвращались, как горе-охотники, не видав ни шерсти, ни пера.

Свечерело. Небесная синева зажглась звездами – такими крупными, яркими и близкими, что казалось: вот-вот еще сажений пятьдесят подъема, и мы будем уже в царстве

звезд. Белая папаха Казбека мерцала тем таинственным самосветом, понятие о котором могут составить лишь те, кому случилось наблюдать снеговые вершины в безлунную, но сильно звездную ночь. Внизу, под туманами, неистовствовали, как две озлившихся шавки, Куро и Катуща – отец и мать знаменитой Бешеной балки, им в ответ глухо рычал из неизмеримой глубины Терек.

Нам было очень невесело, особенно, когда случалось переходить горные ручьи. Встречный ветер, и без того уже леденивший наши кости, швырял нам тогда в лица водяную пыль, коловшую нас, точно иглами. У меня растрескались губы, болели глаза. Было невозможно перекинуться словом с товарищами-грузинами из Казбека: ветром захватывало дыхание. Он выл, свистал, гайгайкал, мяукал, домового хоронил и ведьму выдавал за муж... О, «кой чёрт понес меня на эту галеру!» [19]

Была бутылка коньяку – роспили. Начать другую, захваченную про запас, не дал вожакий нашей компании Сюмон А...дзе, истинный оракул горных экспедиций, малый ум-

ный и толковый, наметавшийся в обращении с русскими и даже не без некоторого образования:

– Не пейте: до сакли недалеко. Выпьем, что останется, когда придем в тепло. Вина не найдем: хозяин – бедный осетин. А, когда попадем в тепло, нельзя не выпить: иначе привяжется лихорадка, будут болеть руки и ноги, кости ломить...

Досаднее всего было сознание, что аул Казбек лежал как раз под нами. Если бы не тучи да туман, мы видели бы его огни. Если бы не ветер, да не рев потоков, мы, вероятно, слышали бы звяканье бубенчиков и стук колес по Военно-грузинскому шоссе. Но короткая тропинка с Куросцери к Казбеку была с третьего дня испорчена нашею же неосторожностью [20], и теперь нам приходилось делать обход верст в десять по дебрям и кручам – чуть не к самому Дарьяльскому посту.

Как мы добрели к обещанному Сюмоном ночлегу, уж и не знаю. Помню только, что от усталости ни есть не могли, ни сон не брал. В сакле осетина было бедно, грязно, душно, тесно, но – все же тепло и не под открытым

небом. Ночь давно померкла; небо заплыло тучами; ветер вырос в бурю; первобытно сваянные на авось и небось стены сакли дрожмя-дрожали под его бешеным напором.

Наша хозяйка – молодая, но совершенно истощенная работой, лихорадкой и бескормицей женщина – укачивала дочку, самую чахлую и крикливую девчонку из всех ребят Большого и Малого Кавказа. Мелодия её колыбельной песни была заунывна и однообразна, а слова – странны дикою загадочностью. Они походили на заклинания. Мать не то благословляла свое дитя, не то ворожила над ним. Сюмон, как умел, перевел мне этот оригинальный текст, а я впоследствии – тоже, – как умел – попробовал переложить его стихами:

*Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда
За тебя – пророк Илья
И падухая звезда.
Пал над Тереком туман,
Под скалой сверчок запел...
На Казбеке Ариман
Снежной бурей зашумел.
Небесам грозит войной*

*Гордый ада исполин:
Вам тягаться ли со мной?
Я вселенной властелин!
Но за дерзостную речь
Воздадут ему свое
Михаила грозный меч
И Георгия копьё!
И погибнет сила зла,
И – улыбкою горя —
Благотворна и светла,
Встанет красная заря.
Спи, красавица моя,
Будь счастливою всегда!
За тебя – пророк Илья,
И падучая звезда.*

Что осетинка поминала в своей песне св. Илью, Георгия Победоносца и архангела Михаила, удивляться нечего. Религия осетин, даже определенно настаивающих на своем магометанстве или христианстве, поражает путанностью верований и понятий. Магометане чтут многих христианских святых; христиане не прочь послушать наставление из Корана; те и другие с полной искренностью проделывают многие обряды совершенно языческого характера, идолопоклонствуя, когда того тре-

бует обычай, с редкою наивностью. Св. Илья – молниеносец и громовник – почитается одинаково всеми осетинами... Но причем же «падучая звезда»?

Я спросил Сюмона. Он отвечал:

– О! падучая звезда ♦ великая сила. Она меч Божий. Когда она сверкает на небе, нечистая сила отступается от человека, теряя над ним всякую власть. Она глупеет, смущается, из шакала обращается в ишака. Слышал ли ты про Аримана – великого падишаха джиннов, что векует свою проклятую жизнь в изгнании на Шат-горе?

– Слышал что-то...

– Он огромный, белый, весь в седой шерсти от старости; глаза – красные, как огонь, и весь он опутан золотыми цепями. Сидит Ариман в хрустальном дворце, между верными джиннами и не смеет двинуться с места. И все они – как невольники. Тяжко им. Тоскуют джинны, бранятся, плачут, молят своего падишаха:

– Разбей свои цепи! освободи и нас, и себя! Отмсти и властвуй!

Но он молчит. Он умную голову имеет: за-

чем ему плакать? Он мужчина. Зачем ему говорить пустые слова? Он знает, что судьбы не изменить. Посажен он на цепь до конца света, – так тому и быть.

Но по осени, когда ледники дохнут холодом в долины, падишах джиннов получает свободу на три часа каждую ночь – от петуха до петуха. Срывается нечистая сила с цепей. С громом и воплем поднимается на воздух белый старик, а за ним летит вся его злая челядь.

Что тогда беды в горах! Дунет Ариман на речку – вздуется речка, балки заливаает, баранов топит, дороги размывает. Схватится за гору – уже грохочет обвал, рушатся вековые скалы, хороня под своими громадами сакли и людей. Махнет рукой – и засыплет снегом заповздалый караван в ущелье. Летит шайтан, ветер обгоняет и сам своей злобе радуется:

– Чую прежнюю силу! Еще поборемся!

– Поборемся! воет в ответ властелину страшная свита, аж гул идет по горам, и Терек вдвое громче ревет от страха.

Вот уже и Дарьял миновали, вот уже и Казбек недалеко...

Казбек – великая гора; на ней добрые ангелы живут. Старые люди сказывают, будто на шатре Казбека, там, где нет уже ни камня, ни снега, а один только чистый лед, есть церковь. Не Мта-Стефан-Цминда[21] – другая. Ее нельзя видеть простому человеку. Лишь праведник – может быть, один во сто лет – находит к ней дорогу и доступ. Ничего внутри той церкви нету. Только люлька висит, в люльке лежит неведомый прекрасный младенец, а над ним, как верный сторож, сидит на шестке голубь – живой, но весь, перышко к перышку, из червоннаго золота.

Затем и летит на Казбек нечистая сила, чтобы захватить младенца и уничтожит голубя. Потому что, если бы это случилось, наступила бы власть джиннов на земле, и был бы конец миру.

Налетит дьявольская орда на церковь, шаркает крылами по стенам, зубами и когтями скрежещет, в окна и двери ломится... вот-вот уже у колыбели, вот и лапы протянули...

Но встрепенется голубь, распушит над младенцем золотыя крылья – и посыпятся с неба падучия звезды и попалят злого Арима-

на с его неистовым воинством.

Худо им! – бегут, охают, проклинаят, пощады просят... А звезды все падают и падают, пока не загонят падишаха в его заоблачный хрустальный дворец, пока – сами собою – не наденутся на него вековечные золотые око-вы.

И так-то каждый вечер во всю позднюю осень и зиму, вплоть до самого Рождества, бушует нечистая сила; каждый вечер мчится она в вихре и вьюгах войною на Казбек, и каждый вечер гонят ее чрез Дарьял на Эль-брус святые звезды.

А таинственный младенец в люльке все спит, не просыпаясь. Только три раза в год – в полночь под Рождество, под Крещение и в Светлую ночь он пробуждается. Едва он открывает светлые глазки, опускается с неба цепь из самоцветных камней и ложится по воздуху между незримой церковью и собором в древней столице Грузии, в Мцхете. И поднимаются по той цепи в незримую церковь избранные Богом мцхетские священнослужители, повинувшись зову неведомого голоса. Ангелы хранят их путь и не дают им упасть или осту-

питься. Придут, поклонятся младенцу и его голубю, споют им божественные службы, а к рассвету возвращаются домой так же чудесно, как ушли. И, пока творятся эти непостижимые тайны, пока свершает свое течение великая ночь, молчат на свете всякий грех и злоба: на земле мир и в человеках благоволение.

Рассказы Датико[22]

Взобравшись на вершину крутого обрыва, служащего левым берегом для быстрых вод мутной Пасанаурской Арагвы, я лег на мшистые камни, под тень корявого приземистого дубка. Глубоко подо мною белели низенькие строения Пасанаура, кипела Арагва. И рев реки, и отголоски жизни затерянного в горной котловине тихого селения доходили ко мне слитным гулом, образуя для слуха как бы постоянный фон, на котором особенно резко выделялись случайные звуки, время от времени проносившиеся в воздухе. То пронзительно и дико накричит орел, падая с голубой небесной высоты на добычу, то где-нибудь в ущелье грянет выстрел, – эхо рявкнет в ответ во ста местах зараз, коротко и зычно, словно где-

либо по близости какой-нибудь сказочный богатырь, стоя на высокой скале, вытряхнул на битую сухую дорогу громадный мешок с камнями. Насупротив, через долину, зеленые лесистые горы стояли в синеватом прозрачном тумане, с каким в ясную погоду они не расстаются от утренней зари до вечерней; это их дневное дыхание, к ночи оно сгущается в сероватую облачную пелену и снова разрежается при первом луче восходящего солнца. В небе висело несколько мелких тучек; тени от них плыли по горам, то светлея, то темнея, подобно с тем, на бугре ли, в балке ли принимала их на себя мягкая зелень кудрявых лесных верхов. В то время, как я занимался созерцанием горных красот, мимо, чуть не задев меня крыльями, пролетела маленькая пташка. Сбоку, из чащи, ударил на нее копчик, поймал и, усевшись на сук орешника, в каких-нибудь десяти шагах от меня, стал терзать свою жертву. Он испускал хриплые отрывистые крики и посматривал на меня круглыми, блестящими глазами, с необыкновенно деловым и сердитым видом и без всякого страха. Я захотел проучить копчика за на-

хальство, прицелился в него из револьвера, выстрелил и... промахнулся! Копчик улетел, унося пойманную птичку, а сзади меня раздался грубый мужской хохот. Оглянувшись, я увидел охотника-грузина, в поношенной черкеске из самодельного коричневого сукна, с кремневкой за плечами, с деревяшкой вместо левой ноги. Мой промах по сидячей птице так насмешил охотника, что он даже за бока ухватился, а пожилое безбородое лицо его, бурое от загара, покраснело, налившись кровью. Пока я припоминал, какое бы из двадцати известных мне в то время грузинских слов пустить в ход по случаю неожиданной встречи, охотник сам заговорил со мной по-русски, отлично произнося.

– Здравствуй! Зачем плохо стреляешь?

– Что же делать, не умею лучше, – глаза слабы.

– Ха! Я смотрю: целит, долго целит. Думаю: пропал теперь сокол, ни пера от него не будет. Бух! – ветка сломалась, а сокол в небо гулять пошел. Ха, ха, ха!..

Охотник сел рядом со мной.

– Откуда идешь? Из Пасамаура?.. Служишь

там? А! на лето жить приехал!.. Из Тифлиса? Ва! Хороший город, только жарко там очень. А покажи-ка мне твой «риульвер».

Я подал ему револьвер. Охотник покачал головой:

– А ты совсем никуда не годишься! ♦ Угостил он меня внезапным комплиментом.

– Что так?

– Верно. Как же ты отдаешь в руки чужому незнакомому человеку свой револьвер? Тут гора и лес. Вот я выпалю в тебя, ты ляжешь, никто и не узнает. Ха, ха, ха!..

– Не такое у тебя лицо, чтобы ты выстрелил в человека.

Охотник ударил меня по плечу.

– Правда, кацо![23] Хромой Датико никому зла не сделал. А револьвер все-таки чужим людям не давай. У нас в Гудамакари так рассказывают. В старые годы, неподалеку отсюда, жил над Арагвой в сакле разбойник. Подстерег он однажды купца на дороге, ограбил, бешмет снял, рубашку снял. Купец сказал: «Господин, ты взял у меня все, кроме жизни, встречу я другого разбойника, увидит он, что у меня ничего нет, рассердится, захочет от-

нять и самую жизнь, а мне и защищать себя нечем. Подари мне хоть палку свою, чтобы дорогой подпираться!» Сжалился разбойник. «Возьми!» Передал он палку купцу из рук в руки, но, едва оставил свой конец палки, как купец этим концом сильно ударил его по носу. Разбойник упал замертво, а купец взял назад свое добро, да еще с разбойника снял все оружие и одежду и оставил его лежать голым на дороге... Понял?... Ты зачем на гору пришел?

– Посмотреть, что тут есть.

– Что есть? Ничего нет. Бедная гора. Камень есть, дерево есть, сокол есть, – больше ничего нет.

– На кого же ты здесь охотишься?

– Я на той стороне ходил... – Датику махнул рукой по направлению к Гудамакарскому ущелью, – там птицы много. Вижу: человек ходит по горе, одет не по-нашему, – пришел смотреть: кто ты. Ты – смелый.

– Спасибо. А что?

– Один в горы ходишь. К нашим горам привычка нужна. И сапоги у тебя городские: на гору в них нельзя, надо бандули[24], как у ме-

ня. Подошва без ремня с камня ползет, с сухого листа ползет. Оборвешься, упадешь, – конец твоей голове!

– Тут убиться нельзя. Если и свалишься, кусты: не дадут упасть глубоко: вон они какие частые на обрыве.

– На месте не убьешься, а руку или ногу сломаешь, – как потом домой пойдешь? Пропадешь здесь. Я тебе, сынок, расскажу про себя, как я добыл вот это...

Он кивнул на свою деревяшку.

– Я был еще совсем молодой человек, только что начал ходить с ружьем. Тогда в лесах было больше зверя, чем теперь. Раз поднялся я на ту гору, за Пасанауром, перешел за её гребень, иду... Вдруг предо мной выскочила косуля. Я выпалил, ранил ее. Она побежала, я – за нею, по следу; в беге она ломала кусты и роняла кровь. Лес молодой; кусты цепкие, колючие, идти скользко и вязко, – мох и прелый лист под ногой. Дошел я до балки. Через балку перегнулась березка, с этого края держится только корнями, а на тот легла верхушкой. Березка дрожит вся, хоть ветра нет, кора на ней поцарапана, – значит, косуля по ней про-

бежала. Я не задумался и сам пошел следом за зверем по березке, но, зная, я был тяжелее косули: березка согнулась, опустилась, и я упал на дно балки, ударился лицом о камни и потерял память. Очнулся, чувствую, что сильно разбился. Спина отшиблена, рука висит, точно свинцовая, нога тоже – как мертвая. Попробовал подняться – больно, опять потерял свет из глаз. Ну, Датику, пришла за тобой смерть, молись Богу и святому Давиду! Принялся кричать. Голос очень гулко пошел по балке. А это худо: внизу гудит, наверху, значит, не слышать, весь крик остается в балке, как в колодце. Решил я, что нечего делать, должно быть, судьба мне пропадать; закрыл глаза, лежу; а умирать сильно не хочу: я тогда здоровый был, красивый, отец меня женить думал.

Солнце зашло. Страшно мне стало. Сколько раз я ночевал в лесу – не боялся, а теперь от испуга даже зубами застучал... а, может быть, и от лихорадки. Ружье мое упало вместе со мной. Дуло согнулось, ложа изломалась; как мне быть, если придет медведь? Он летом смирный, человека не тронет, но, если

почует кровь, пожалуй, разъярится, а крови возле меня целая лужа. Нашла на меня тоска, и я заплакал. Пускай идет медведь, пускай меня ест! все равно: коли не зверь загрызет, то от лихорадки подышать надо или от голода.

Снизу балки поднялась сырость, подплыла ко мне, окутала холодным облаком, – лихорадка начала меня бить еще сильнее. Месяц засветил. Смотрю вверх – балки не вижу; лежу под туманом, как под саваном, трясусь и молчу. Чекалка где-то залаяла. В кустах треск пошел; должно быть, и впрямь медведь шатался. Однако защитил меня святой Давид: в балку проклятый зверь не спустился.

Полегчало мне немножко от лихорадки, стал я забываться, закрыл глаза, а через меня – как прыгнет что-то... хорек ли, заяц ли, кто его знает, а тогда в забытьи мне Бог весть что представилось, страшное, да большое, да сильное! Может быть, впрочем, и коза дикая бежала к водопою. Я совсем потерял голову, закричал так, что весь лес отозвался, забыл и про сломанную ногу, пополз из последних сил к берегу балки, а сам все кричу... Ухватился за какие-то корни, повис на них; ничего не

думаю, не слышу, не вижу, а только кричу. Как взошла заря, не заметил за криком... Вижу: подходят ко мне люди, говорят что-то, а я смотрю на них, не узнаю, кто такие, ничего не понимаю и все кричу. Вытащили меня из балки, дали напиться, я замолчал, пришел в себя... Кругом знакомые охотники из Пасанаура. Хотел заговорить с ними, спасибо сказать, а в горле голоса нет, – надорвался. Меня положили на ружья, понесли в долину; по дороге я заснул, а проснулся уже в госпитале, в Душете, когда лекарь мне ногу отрезал. Рука, слава Богу, поправилась, зажила...

Датико умолк.

– Долго ты лежал в госпитале? спросил я.

– Долго. Полтора месяца. Там я и по-русски выучился. Хорошо говорю?

– Отлично.

– То-то. Меня все ваши хвалят... Ну, прощай! Знаком будешь! – убью что, тебе в Пасанаур продавать принесу.

И, пожав мне руку, охотник скрылся за кустами. Долго еще я слышал стук его деревяшки и шум потревоженных им ветвей.

Этот Датико стал для меня со дня нашего

знакомства истинным благодетелем. Благодаря ему, Пасанаурский околоток сделался мне только что не своим краем. Не говоря уже о том, что он знал каждый куст, каждую рытвину своей дикой родины, что каждый встречный кланялся ему, как либо родному, либо другу, либо хорошему знакомому, и про каждого-то Датико мог рассказать всю его биографию от рождения и до сего дня; сверх всего этого, Датико был еще поистине живою сокровищницей местных преданий, сказок и легенд. Они у него, точно пословицы у Санчо-Пансы, сыпались с языка по всякому удобному и неудобному поводу. Старался ли он занимать ими меня, сам ли их любил, — не знаю, как сказать... вероятно, и то, и другое.

Помню как-то раз, когда мы с Датико бродили по ущелью Ахоби, нас вымочил до нитки внезапно налетевший из-за горы дождь. До Пасанаура отсюда верст десять, до деревни Ахоби также не близко; обсушиться негде, а полагаться на сушку одежд, не снимая их с плеч, солнечными лучами — опасная штука; ветер ущелий всегда не замедлит одарить лихорадкой. Всего досаднее было, что дождь

упал на нас чуть не с ясного неба; пока мы шли по Гудемакарскому ущелью, погода была хоть куда. Со стороны Пасанаура – безоблачная синева, по направлению к Гудемакари тоже, и только развалистая Дзмашвиди-мта[25], гора, похожая на колоссальную палатку добрых рыцарских времен, курилась серыми тучками; именно у её подножья мы свернули в Ахоби и тотчас же наткнулись на сюрприз: глубь ущелья была застлана густым занавесом далекого дождя. Мы было решились переменить направление нашего странствия и, не сворачивая, продолжать путь к Гудемакари, но было поздно; если мы не пошли к горе, то гора сама пошла к нам; занавес погнался за нами с быстротой почтовой тройки, нагнал и, окатив ливнем, помчался дальше, оставив за собой, словно в насмешку, чистейшее голубое небо. Я не удержался, чтобы не послать обиженной нас туче энергичного «чёрта». Датико это не понравилось, и он прочел мне длинную и обстоятельную нотацию, что ругаться в горах вообще не след, а уж поминать чёрта в особенности не годится: горные духи этого терпеть не могут и в отместку за каждое

крепкое словцо непременно сделают вам какую-нибудь мерзость. В заключение же подкрепил свои слова своеобразной сказкой о блуждающем осетине, заменяющем на Кавказе Вечного Жида и Летучего Голландца...

Жил-был осетин, богатый и хороший человек, но вздорного характера и великий ругатель. В дороге, на работе, на охоте, – словом везде и всегда он ругался, как язычник, и выводил этим из терпения злого духа, обитающего в Трусовском ущелье, где стоял аул осетина. Злоба нечистого отличалась довольно деятельным характером; то баранта[26] у осетина пропадет, то обвалом придавит его ячменное поле, то самого осетина угораздит сверзиться с горной тропинки и набить себе синяков и шишек по всему телу, то лихорадкой его прохватит, то выйдет он на охоту, да и проходит целый день с неразряженным ружьем: кроме чекалок[27], – хоть бы что на встречу!... Надоела эта вражда осетину. Взял он двух баранов, пригнал их в Хевский Сион, заколол в церковной ограде и попросил батюшку отслужить молебен пророку Илье, чтоб этот, особенно уважаемый осетинами

святой, – в распоряжении которого находятся, по их общему в этом случае со славянским верованию, и грома, и молния, и которого злые духи поэтому, как огня, боятся, – запретил трусовскому бесу обижать его баранту, поля, семейство, мешать ему на охоте и вредить его здоровью. Словом, как водится, обставил жертвоприношение самым обстоятельным и подробным условием. На именно на этой-то подробности и поймал его нечистый. После жертвоприношения беды, преследовавшие осетина, прекратились мгновенно, на его голову вместо прежних несчастий, посыпались всевозможные дары судьбы, и осетину оставалось только богатеть и благословлять своего заступника Св. Илью. Однажды он продал в Коби знакомому пару буйволов, получил деньги, зашил бумажки для верности в папаху и помой в Трусо. Переходя какой-то ручей, осетин вспомнил, как на этом самом месте он когда-то, по козням своего врага нечистого, чуть-чуть не сломал себе ногу, и по старой памяти загнул горному духу крепкую «мама-дзаглу»[28]. Дух вырос пред осетином, как лист перед травой.

– Ты опять ругаться?! ❖ грозно воскликнул он.

– Опять! ❖ храбро огрызнулся осетин.

– Мало я тебя учил?

– Теперь, брат, больше учить меня тебе не придется, – с насмешкой возразил осетин, – что ты мне можешь сделать? Св. Илья защитит меня от тебя во всем. Я молился ему и о своем теле, и о своих детях, и о скоте, и о ячмене...

– Но ты не молился о своей папахе! ❖ заметил нечистый и с хохотом дунул на дерзкого осетина; папаха слетела с головы последнего и покатила в долину по ущелью... Бедный осетин бросился догонять свою шапку и спрятанные в ней рубли; вот-вот уже настиг, протянул руку, чтобы схватить папаху, а её подняло новым вихрем и понесло дальше; то же повторилось и в другой, и в третий раз; измучился осетин, а перестать гнаться за папачой не может: еще бы! не малые деньги зашиты в ней!..

– Эй, ты! ❖ кричит он злему духу, – отдай папаху! пошутил, да и будет!

– Отдам, только попроси у меня прощения

и поклянись, что больше не будешь меня бранить.

Озлился, осетин.

– Ну, уж этого ты не дождешься! Скорее я до скончания века прогоняюсь за этою папашой, чем буду просить прощения у такой донгуз[29], как ты!

– Гоняйся! ♦ коротко ответил дух и исчез. А злополучный осетин и по сию пору мечется в горных ущельях, ловя свою драгоценную, вечно ускользающую от него папаху. Видали его и на Казбеке, и в Кайшаурах, и в Кабарде, и в Дагестане: носится бедняк, как вихорь, по всему Кавказу игрушкой оскорбленного беса, и не остановится ему, согласно собственной своей клятве, до самого светопреставления.

Дикий цветок

Матико[30] больна. Бог знает, где и как схватила она два месяца тому назад кашель; по ночам ее, бьет лихорадка, начинаясь всегда в один и тот же час, а потом до самой зари, переводя девушку из жара в озноб и из озноба в жар, испарина так ослабила Матико, что вот уже три недели, как домашние махнули на нее рукой, даром, что время было горя-

чье – снимали с поля вызревший ячмень; ну ее, девку, Бог с ней: не работница в поле, не хозяйка в доме! Только, перестав быть полезною семье, отказавшейся от нее, как от рабочей силы, Матико сознала, что ей плохо, и стала готовиться к смерти. Раньше она не верила в опасность своей болезни, хотя еще в самом начале этой ужасной лихорадки, знахарка Като из Бандзури[31], бесполезно перепробовав на девушке все свои отвары и корни, показала однажды, осердясь, матери Матико пальцем на небо, топнула ногой по земле, сказала: «Душу – туда, тело – сюда», и отказалась продолжать лечение. Русский доктор Гудумакарского госпиталя[32], куда, по настоянию батюшки-священника, поборов с великим трудом свое отвращение к присяжным жрецам медицины, свел Матико её отец, – тоже вместо всякого совета, только покачал головой и, протяжно свистнув, промолвил: «Ах, вы черти, черти! когда приходите лечиться!» Этот доктор все-таки дал Матико какие-то капли: от них она спала, и ей казалось, что ей лучше и что она скоро выздоровеет, чего ей очень хотелось; в самом деле, не бессмыслица

ли умирать в шестнадцать лет!.. Но уж если домашние стали такие добрые – не тащат ее в поле, не заставляют прибираться саклю и варить лоби[33], не мешают ей лежать целый день пластом на жарком солнце, – значит, конец.

– Что это у вас с девушкой? ♦ спросил как-то раз прохожий.

– Не трогай ее! ♦ сердито ответил ему Сандро, меньшей братишка Матико, – она у нас помирает.

Матико не боится умирать, Зачем? Она никогда не думала о жизни, не думает и о смерти. Цветком взошла она на суровой почве родных гор, цветком и увянет. Что будет дальше, ее не страшит. Батюшка зашел как-то к ней в саклю, и от него Матико узнала, что Христос, Кому она молится дома и в церкви, добр, милосерд и светел, что у него есть прекрасный сад на небе, и там много места для честных девушек, умирающих молодыми. Об аде никто не говорил Матико... да и к чему было говорить? Разве справедливый Бог может послать шестнадцатилетнее дитя гор в ад? Кто не видит света, тот не думает; кто не

думает, – не грешит... Матико же до сих пор видела только зеленые горы, серые сакли, голубое небо, да пыльную, далекую дорогу, выбегающую из котловины, в зелени которой затонуло её родное селенье, в грозное мрачное ущелье, где всегда такой порывистый ветер, и где льется такая шумная, черная река. Говорят, по этой дороге можно зайти далеко-далеко, даже в самый Тифлис. Матико никогда не стремилась увидеть её чудеса. Она – смиренная, покорная, тихая девушка. Нет, скорее можно осудить геенне птиц и зверей пустыни, чем этого ребенка – такого же дикого, как они, но беззащитнее и кротче их.

Ответ брата прохожему запал в голову Матико. Теперь, когда она одна взрослая в селе, покинутом жителями, оттерпливающими страду, ей часто приходится разговаривать с прохожими. Ее спрашивают чужие люди о дороге в соседние аулы, о том, где Арагви удобнее для купанья, богаты ли её родители, и каждый-то непременно скажет под конец:

– А что же ты, девушка, не на пожне?... Пора рабочая.

Тогда она спокойно и простодушно отвечает словами Сандро:

– Мне нельзя, добрый человек... Я умираю...

Чужие люди качают головой, щелкают потихоньку языком в знак сожаления и уходят. Иной в утешение прибавит:

– Да, вот что... Ну, ничего, не робей, генацвали[34], даст Бог, поправишься...

Ор – свирепая белая овчарка, вместе с Матико и десятком малых ребят, охраняющая деревню, привыкла к больной, лежит перед нею по целым часам, высунув длинный красный язык, и молчаливо смотрит в лицо Матико суровыми, честными глазами. Матико тоже любит Ора, иногда она тихо зовет его и манит исхудалою рукой, и Ор, хотя терпеть не может, чтобы его гладили, ползет к девушке с ласковым взглядом и покорно подставляет её пальцам свою мохнатую голову: как добрый пес, он смекает, что нельзя отказывать умирающей в некотором удовольствии и следует для нее пожертвовать отчасти своими привычками.

Однажды рука Матико, что-то слишком

долго застоялась на башке Ора; пес почуял недоброе, высвободился; от его движения девушка упала навзничь через порог, где сидела; голова и туловище её легли в сакле, ноги на улице. Ор внимательно поглядел в лицо Матико, понюхал, лизнул её руку и, коротко и грозно взыв, бросился бежать из деревни. Прибежав на пожню, он сел пред отцом Матико на задние лапы и завыл.

– Ор прибежал... видно, девка умерла... ❖ сказала старику жена.

– Беги скорей, посмотри... да убери ее, коли в самом деле неладно... ❖ глухо ответил старик, бледный как полотно, не отрываясь, однако, от работы; его громадный серп, который в России скорее сочли бы за кривую саблю какого-нибудь дикого богатыря, чем за мирное орудие жатвы, вдвое быстрее засверкал в воздухе.

– А ты?... ❖ нерешительно спросила старуха.

– Ты видишь: ячмень течет!... сказал он, и в голосе его задрожала такая неслыханная дотоле струна, что сосед его по серпу – рослый, мрачный парень-бобыль, кого все в деревне

звали «сердитым Вассо», вздрогнул, отвернулся и долго пристально смотрел зачем-то на вершину ближней горы, шепча втихомолку крупные слова – проклятие собачьей бедности, таким тесным рабством связавшей жизнь горца с его ячменным полем, что ни чувствовать, ни сожалеть, ни страдать, ни плакать, – словом, быть человеком некогда. Потом снова взялся за серп, но прежде чем возвратиться к работе, ласково потрепал дружескою рукой по спине, согбенного над снопом старика. Тот даже и не почувствовал. Молча, не глядя друг на друга, не поднимая лиц, быстро, ловко и споро делали жнецы свое дело, но, несмотря на жаркий полдень, на падавшем под их ударами ячмене порой сверкали бриллиантовые капли, похожие па росу.

В деревне толпа ребятишек, разиня рот, издали смотрела на распростертую на земле Матико. Мать пришла, села в стороне и заголосола. Ор выл.

Дикий цветок увял и осыпался.

Конокрады

Тифлисский дилижанс заночевал в Паса-

науре, вместо Млет, – и мы, пассажиры, все были рады радехоньки, потому что вот уже ровно час, как на встречу нам, вдоль по ущелью Арагвы, дул резкий, леденящий кровь в жилах, ветер, а сама Арагва металась и клокотала вдвое сильнее обыкновенного. Это значило, что в Чертовой долине свирепствует буря, а на Гудауре, пожалуй, даже и буря снежная. Ведь Гудаур на переходе от осени к зиме становится настоящим престолом Борея с белыми власами и с седою бородой. От Гудаура к Млетам падает отвесный спуск. Человеку, чтобы сойти по этому отвесу, надо сделать, если он смелый и привычный к горной ходьбе путник, девять верст; на лошадях же, по шоссе, – двадцать две версты крутыми зигзагами и перебегами. Но Борею с белыми власами до людских путей и троп нет дела и, когда он машет своим косматым рукавом на Гудауре, – внизу, в Млетах, у подножия его престола, обывателям житья нет... А Пасанауар все-таки от этого ледяного безобразника подальше – на целые восемнадцать верст, что в горном климате не шутка.

В душной общей комнате почтовой паса-

наурской станции усталость и жилое тепло, после дорожного холода, скоро сморили сном всех пассажиров. Не спали только я да мой сосед по империалу дилижанса[35], отец Мелетий – диакон из какой-то Терской станицы, возвращавшийся домой из Тифлиса, куда ездил по церковным делам. Это был человек огромного роста, широкоплечий, осанистый, солидный и степенный. Родом он был из терских же казаков, вел у себя в станице большое хозяйство, край свой знал превосходно и по дороге рассказал мне много любопытного. Я лежал на жестком станционном диване навзничь, следя за путешествиями тараканов по белому потолку. Диакон тяжелыми шагами разгуливал по комнате, то и дело заглядывая в темные окна, – в холодную ночь, смешавшую в своем грозном гуле вой и стоны ветра с грохотом и плачем Арагвы.

– Ну, погодка, – обратился Мелетий ко мне, заметив, что я лежу с открытыми глазами. – Как подумаю, что, пожалуй, и за горами – там, у нас в степи – пурга ходит, так, верите ли, сердце и упадет... Вот даже спать не могу. Притомился, а сон не берет.

– А что, собственно, вас тревожит?

– Да уж больно воровская ночь. Обе руки злодею распутывает: бери, что плохо положено, – небось, никто не увидит! В нашей стороне – проснешься после этакой ночки, так, к коням-то пока дойдешь, трясешься, как в лихорадке: целы аль нет?

– Уводят?

– И не говорите. Эта наша оголтелая татарва – самый что ни есть вредный народ по лошадиной части. Деньги, вещь какую-нибудь золотую или брильянтовую – не стянет, а коня, баранту, да вот еще оружие, если хорошее, у родного отца уволочет, не пожалеет... Меня, бесовы дети, два раза дочиста разоряли. И ведь как, бестии, – Господи, прости мое согрешение, – свое дело ловко налаживают! Целая наука у них. Шайками ходят и все это мошенство свое точно на гусях, по струнам, разыгрывают.

И он подробно рассказал мне, как был обокраден сам и как вообще в Терских и Кубанских станицах попадают подчас в руки лихих людей добрые казацкие кони...

* * *

– Представьте себе, что вы зажиточный станичник. В степи у вас гуляет порядочная отара овец, а во дворе стоит пять-шесть добрых коней, и рабочих, и под верх, и в разъезд. Особенно дорог вам какой-нибудь «Гнедой» или «Серый», – вы привели его из Ставрополя; он ваша гордость; вся станица завидует вашему коню и хвалит его. Хвалят и заезжие кабардинцы, но от их похвал вас бросает и в жар, и в холод. Не то, чтобы вы боялись, что коня сглазят, – сглазить могут и свои, – но вам все-таки делается как-то не по себе, и, возвращаясь домой, вы говорите своему брату, сыну, работнику:

– За Серым в оба глаза смотри... Его Мехмед Рыжий облюбовал, – он спуска не даст.

Проходит несколько дней. Вы забыли и думать о Мехмеде, тем более, что вашего Серого успели после того похвалить и Магома Косой, и Абдулка с Сердитой Балки, и еще добрая дюжина удалцов, обычаями и свычаями своими ничуть не уступающих Мехмеду. В один вечер вы с тревогой смотрите на выползающие из-за степного горизонта тучи. Ветер их несет прямо на станицу, и ветер сильный: ес-

ли бы под таким ветром в ближней за станицею балке из пушек стреляли, то в станице ничего не слышать было бы, а весь звук пошел бы к горам, хоть до них два десятка верст, а то и больше, до станицы же и двух не будет. Накрапывает дождь. Вы креститесь, качаете головой и за ужином говорите сыну:

– Ты Степан, поди ляг нынче во дворе, под навес. Больно неладная ночь. Да Серого-то навещай.

В другое время Степан заворчал бы на вас за такое решение, но теперь видит, что резон на вашей стороне, говорит: «ладно!» и, вместе с работником, покорно отправляется под навес, где и заваливается спать на армяк, разостланный под опрокинутой арбою. Вы тоже ложитесь, но ваш сон неспокоен. То и дело вы поднимаете голову от подушки и прислушиваетесь к мерному шуму дождя на дворе... И вот в одно из таких пробуждений, вы ясно слышите взвизг собаки на дворе, жалобное ржание и слабый стук копыт. Вы вскакиваете, хватаете пашку, бросаетесь к двери, – ваша жена валится вам в ноги и молит: «Не ходи – убьют!» Впрочем, выйти и невозможно.

Едва вы зашумели, три мерные удара прикладом снаружи в выходную дверь возвестили вам, что к вам приставлен часовой, который, при первой вашей попытке вырваться из западни, выпалит в вас в упор без дальних разговоров и рассуждений и, уж конечно, положит на месте: кабардинцы промахов не дают. Вам приходит в голову мысль сшибить сторожа дверью и все-таки пробиться к своим коням, но, на случай такой попытки, в окно вашей мазанки глядят два ствола ружья другого часового; вы его не видите, а между тем, стволы правильно меняют свое направление, согласно всем вашим перемещениям. Вы хотели бы закричать, но вспоминаете, что у вас во дворе спит сын, ему еще пока не сделали худа (если только не зарезали сонного, что, впрочем, в таких случаях редкость), а с первым вашим криком его непременно прикончат. Вам остается, словом, покориться судьбе, сесть под образа, спокойно слушать, как всхлипывает ваша жена, укачивая разбуженного ночью суматохой грудного ребенка; размышлять о том, кому собственно вы будете обязаны разорением – Мехмеду, Абдулке или Маго-

ме, и кто из ваших ближайших соседей помогал им, так как по станичной пословице, «кабардинец без казака во двор не войдет»: недоумевать, почему не залаял ваш исполин-овчар Полкан и т. д. Как вас грабят, – вы не слышите. Лошади не ржут, – очевидно, им затянули морды ремнями, не топают, – на них надели соломенные чулки. Грозные стволы в окне пропадают. Это значит, – дело кончено: ваши кони не только выведены со двора, но уже и угнаны версты за две. Вы бросаетесь к дверям, распахиваете их настежь, – никого! Только слышите дальний топот двух несущихся во весь опор коней: это мчатся ваши часовые и, наверное, оба в разные стороны. Можете теперь кричать «караул» на всех известных вам языках, шуметь, сколько угодно, и сзывать хоть всю станицу. Первое, на что вы натываетесь на дворе, – труп вашего Полкана. Вы вспоминаете, что весь день вчера он ходил скучный, а к вечеру так забился под крыльцо, что и вызвать его нельзя было: должно быть, злоумышленники заранее окормили собаку. Когда воры из-под ветра подобрались к вашему двору, честный пес был

верен до конца: как ни скверно было ему, а перемогся и бросился защищать хозяйское добро, да лишился сил и свалился с ног; тут его и покончили прикладами.

– Степан! Степан! – зовете вы. В ответ раздается невнятное мычание. Вы видите у ног своих два скрученных по рукам и ногам существа; вместо голов, у них какие-то безобразные остроконечные рыла. Вы освещаете их фонарем; оказывается, что на лица несчастных нахлобучены их же собственные папахи, а последние окружены башлыками; лучше и проще обезвредить свидетеля невозможно, – все заклепано: глаза, уши, рот, нос... Как это случилось? Когда развязанный Степан очнется от ужаса, изумления, а, может быть, и от хорошей тукманки по голове, какую все-таки угостили его для верности, он расскажет следующее.

– Проснулся я, – дождь; вспомнил, как ты, батька, говорил насчет Сераго. «Иван! – кричу, – ходил смотреть коней?» А Иван не отзывается... только хрипит как-то... Встал я сам, – батюшки! как с навеса прыгнет мне на плечи кто-то, словно кошка! – я упал, а меня в тот

же миг прикладом по голове хватать. Очнулся: связан, а на морде узел наворочен.

Иван же не откликнулся Степану по самой простой причине. Во сне его давил домовой, но, когда он, уже задыхаясь, открыл глаза, то домовой оказался здоровым парнем; усевшись у него на груди, вор одной рукой держал его за горло, а другой уставлял пистолет ему в лоб.

В изгороди вашего двора дыра. Через нее-то и увели ваших коней. Со светом вы «сбиваете» соседей, садитесь на коня (увы! чужого, занятого у кунака) и едете по свежему следу. Конечно, он запутан похитителями донельзя, но станичнику надо уметь разбираться в хитрых узорах, чертимых по степи конскими копытами. Вы добрались до балки. Тут задача ваша осложняется. Следы разбежались. Одних коней воры направили налево, других направо. Ваши спутники, кроме того, показывают на какие-то «возвратные».

– Направо поехали! – кричат они.

– Неправда, налево. Направо они только круг сделали до ручья (имярек), а потом обскакали степью назад, и с этих пор побежали

налево.

Едете налево. Проезжая аулы, кочевья, поселения, вы наводите справки, но вам отвечают так же неохотно, как отвечали бы вы сами чужой погони за конокрадами: если и знаешь что о них, лучше держать язык за зубами, – что за охота в один прекрасный день получить из-за угла пулю в ухо? Не сам преступник, так родственники его постараются. Конечно, при теперешних порядках за это ссылают на каторгу, но каторга убийцы – плохое утешение для убитого.

У какого-нибудь аула след теряется. Задача ваша кончена. Вам остается теперь не искать своих лошадей, а требовать от старшин этого аула, чтоб они *приняли* след. Если это вам удастся, – дело в шляпе: в силу круговой поруки, общество обязано или заплатить вам стоимость пропавших коней, или найти и выдать вора. Если нет, то вам приходится либо продолжать самостоятельно поиски, либо предоставить их полиции. И то, и другое, по местным условиям, довольно бесполезно, и только счастливая случайность может вернуть вам пропажу...

Между жизнью и смертью ***(История одной секунды)***

Место действия – вершина Куросцери, высокой горы, господствующей над аулом Казбек. Снежный шатер горы Казбек – как раз напротив, через Терек, зубчатой стены Куросцери. Она бросается в глаза, благодаря двум бешеным речонкам – Куро и Каташуа, которые, зародившись на высоте слишком 8,000 футов над уровнем моря, двумя почти что отвесными полосами белой пены, летят по скатам и обрывам Куросцери и сливаются у её подножья в знаменитой Бешеной Балке, этой кормилице и поилице инженеров Военно-Грузинского шоссе. Поднимаются на Куросцери только охотники за турами да искатели горного хрусталя; гора богата его гнездами. Есть и медная руда. Казбекцы делают домашнюю утварь из своей меди.

Гостя в Казбеке, я узнал, что лучшие охотники аула – Сюмон, Фидо, Датико, Эстате и другой Эстате, торговец хрусталем, отправляются в долгую горную экспедицию. Я увязался с ними.

Сперва мы шли по руслам горных речонков,

потом, перешли на какую-то тропу, скорее похожую на звериную, чем на человеческую, проложенную по каменистому выступу – карнизу горы. Тропа поднималась зигзагами и, что ни поворот, то делалась уже. Туземцы – даром, что в бурках – шли по ней, как ни в чем не бывало; но я, хотя и одетый легче их, в удобную альпийскую куртку, сильно запыхался. Наконец футах в двухстах от вершины, карниз превратился в едва заметную ленту беловатого камня: обе ноги, сапог к сапогу, с трудом устанавливались на нем. Грузины перед тем, как вступить на карниз, сняли свои бурки и привязали их на спины трубками. Не сделал этого один лишь из них, – и пола его бурки болталась над пропастью, как черный парус. Отвес кверху, отвес вниз. В скале, немного выше человеческого роста, сделаны выбоины. Их вырубил когда-то отец того самого Сюмона, что ведет нас теперь, – такой же туробойца, как и сын; каждая вырубка стоила ему нескольких дней нечеловеческого труда, – буквально вися над пропастью, старик рисковал в эти трудные дни жизнью столько раз, что с подвигом его не сравнится

самый отчаянный подвиг военной храбрости. Цепляясь за выбоины, мы кое-как проталкиваемся по карнизу гуськом, держась на расстоянии сажени друг от друга. Я иду вторым, следом за Сюмоном, вождем и лучшим ходоком компании, взявшей меня под свое покровительство. От трения о голый камень куртка моя, обновленная в долине, что называется, горит на теле: на вершину я взошел совсем оборванцем.

Я не подвержен головокружениям, пропасть не пугает меня, но, тем не менее, чувствую себя отвратительно: сердце так бьется, словно хочет разломать грудную клетку; кровь колотит в виски, шум в ушах, пред глазами – нет-нет, и полетят черные и зеленые мушки. Страстно хочется вернуться с высоты назад, в долину, но на тропинке нельзя повернуться, и я мучительно думаю: когда же будет конец этому! Мы крадемся по карнизу всего пять-шесть минут, а мне кажется, будто мы идем уже целые часы и прошли целые вёрсты, и десятки верст еще пред нами. Ни один из нас не говорит ни слова, только Сюмон иногда шепчет: – Чкара! чкара![36].

Шепчет – потому что звук опасен на этом обрыве: он обрушивает выветренный шифер. При всей своей любви к сильным ощущениям, я начинаю находить, что сыт ими по горло; довольно! До конца карниза, а вместе с тем и до плоской вершины Куросцери осталось еще порядочно. Сюмон на много опередил меня; он уже у цели: как я ему завидую! Вот он уже схватился за край обрыва, хочет притянуться на руках...

Тут-то и случилась было большая беда.

Я видел, как рука охотника сорвалась с захваченного им камня, как взвился столб пыли, и куча земли и кремней с грохотом покатились в долину. Я не успел еще ни вскрикнуть, ни разглядеть, что случилось с Сюмоном, как крик хрустальщика Эстате, самого заднего в нашем шествии: «хабарда!»[37] коснулся моего слуха, и я увидел, что по карнизу катится ко мне один из камней, оторванных Сюмоном. Камень был не из больших, так, с ядро средней величины, но, прыгая рикошетами, он и летел с силой ядра. Я не мог ни дать ему дорогу, ни остановить его, ни перепрыгнуть через него, ни сбросить его ударом ноги в

пропасть: каждое из этих движений влекло бы за собой потерю равновесия и падение в бездну... Оставалось выдержать удар камня. Но – если, уцепившись за выбоину, я и смогу выстоять на карнизе, то камень все же расшибёт мне ноги, и так или иначе, а мне придется пропасть на этой неприступной вершине, откуда трудно выбраться и здоровому, а где уже спастись безногому калеке!

Весь полет камня не мог продолжаться больше секунды, но чего только ни вспомнил я за это время! Все, что было дорогого и хорошего в моей жизни, так и встало пред глазами...

Вдруг один за другим прокатились в горах три револьверные выстрела, и проклятый камень завертелся, как волчок, у моих ног, разорвал мне бандули, больно зашиб пальцы и остановился. Я сбросил его в пропасть.

Стрелял Фидо, грузин, следовавший за мною. Видя неминуемую гибель, грозившую мне, он, по вдохновению отчаяния, решил – рискуя собственным равновесием – попробовать, не удастся ли ему, если не остановить камень выстрелом, то хоть ослабить силу его

стремления. Чтобы понять самоотверженность этого подвига, надо было сообразить, что Фидо надо было стрелять несколько сбоку, иначе бы он зацепил пулей меня, – и, стало быть, ему пришлось совершенно наклониться над бездной. Впоследствии он говорил мне, что, стреляя, он держался на скале только левой рукой и ногой; туловище и правая нога были занесены в воздушную пустоту.

Подняв глаза кверху, я увидел Сюмона. Он висел на каких то корнях, высунувшихся из обрыва, левой рукой, а правой искал другой точки опоры! Но камни все осыпались из-под его пальцев. Наконец ему удалось попасть на крепкий грунт. Он напрягся и выбрался на платформу Куросцери.

Вскоре мы присоединились к Сюмону и, все вместе, были в безопасности. Нервы мои не выдержали: в изнеможении я сел на землю и – не стыжусь признаться – заплакал. Да и грузины – на что уж привычный ко всяким охотничьим передрягам народ! – были взволнованы. Один только Фидо, мой находчивый спаситель, остался спокоен и весело заметил: – Дорожка обломилась... Это не хорошо!

Сион

Большая серая деревушка высоко взмоглась по желтой горе, – одной из самых красивых, по изящным очертаниям вершины, на всем протяжении Военно-Грузинской дороги. Эту гору точно не земля родила, а люди для забавы обтесали в стройный киоск – легкий и воздушный, даром что облака ходят по его вершине, и надо сутки убить, чтобы обойти кругом его подошву. В боках киоска, высоко над деревушкой, чернеют пещеры, остатки древних каменоломен. Из сионского камня построены почти все церкви между Млетами и Владикавказом; еще при царице Тамаре, – этой грузинской Семирамиде (XI век), – брали здесь камень. Есть на Казбеке Стефан-Цминда – та самая заоблачная келья, о которой мечтал Пушкин, и у стен которой похоронил свою Тамару Лермонтов. Построил ее богатырь-разбойник с Сионской горы. За восемь верст от Казбека ломал он камень и носил на плечах на заоблачную вышку, нечеловеческим трудом искупая свое кровавое прошлое. Долго это дело делалось; по одному камню в день едва одолевал грешник, при всей своей

богатырской силе! Наконец, стала из того камня на Казбеке церковь, простились разбойнику его грехи, и он умер в мире с людьми и Богом. Так рассказывают в аулах Сиона и Казбека. В настоящее время пещеры каменоломен служат хлевами для баранты. В одну из них входит тысяча восемьсот баранов; другие менее уемисты.

Я приближался к Сиону пеший. Время было полуденное. В горах шла косьба; аулы стояли пустые, точно мертвые. Великан-овчарка, единственный страж покинутого жителями селения, уныло бродила по вверенному ей району; я издали видел, как она перепрыгивала, по плоским крышам саклей, с улицы на улицу или, вернее сказать, с одного яруса Сиона в другой. Она почуяла меня по ветру, бросилась мне на встречу, стала на границе своих владений и зарычала, щетиня белую шерсть. Пройти, значит, нельзя. Горные овчарки имеют характер серьезный. Еще вопрос, с кем опаснее схватиться – с мелким ли казбекским медведем, увальнем и порядочным трусом, или с грузинской овчаркой – могучей, быстрой, бесстрашной. В Коби овчарки

среди белого дня трепали меня не на живот, а на смерть; напрасно рубил я их своей тяжелой дорожной дубинкой с железным топориком вместо набалдашника, – проклятые только больше свирепели; не помог и револьвер... Если бы на мои выстрелы не прибежали пастухи, хозяева овчарок, мне не уйти бы живому. А и стрелять-то опасно: горцы своими собаками дорожат, как родными детьми, и за убитого пса легко поплатиться, если не жизнью, то увечьем.

В виду такого опыта, я философически уселся на камень, саженьях в пяти от овчарки, распаковал свой дорожный ранец и принялся завтракать, а овчарка не менее философически улеглась на солнечном припеке, не спуская с меня внимательных глаз. Горцы собак совсем не кормят: чем кормить? самим есть нечего! Тем не менее, от чужого человека верные звери ни за что не возьмут пищи. Отчего? – принцип ли у них такой собачий или многократному опыту псов – сородичей и знакомцев – они боятся отравления, – кто их знает. Я пробовал бросать своему стражу кусочки холодного ростбифа, но страж только ко-

сил на них налитыми кровью глазами и рычал – и гневно, и жалобно вместе. Должно быть, в эти минуты искушения он глубоко меня ненавидел.

Подошли сионцы – косцы с горы Ахалциха – и освободили меня из под караула. Овчарка мгновенно превратилась из врага в друга, завертела хвостом и с голодным проворством подобрала разбросанную мною говядину.

Сион – селение священное; его чтут и мусульмане. Его церковь – как бы отделение Тифлисского Сионского собора, этой «Божьей крепости», твердыни христианства в Закавказье. Церковь хевсакого Сиона, говорят, построена еще царицей Тамарой. Впрочем, здесь всякое здание, если ему за сотню лет, ложится на совесть этой многотерпеливой Тамары. В церкви бедно и скромно. Показали мне два-три складня старинной чеканки, древний серебряный крест и паникадила, пожертвованные одним из второстепенных героев последней турецкой войны, – и все тут. В древностях я ничего не понимаю, паникадила плохи, а архитектура церкви ничем не отличается от

архитектуры других грузинских церквей: все они – на один лад, все – кубышками, и красоты бывают только тогда, когда они громадны. Лишь весьма большие размеры – как у храмов Мцхета, например, – придают им величие и внушительность.

При Сионе есть священная роща. Это чудесная чаща дуба, тополя, рябины, акации – чаща заповедная и запретная.

– Мы из этой рощи даже сучка на палку не берем, – объяснял мне церковный староста, – Божья роща. А позволь отсюда дрова возить, завтра бы стало голое место. У нас леса нет. В Капкай[38] за дровами ездим.

– А охотиться здесь позволяется?

– Как же нет? Без охоты нас зверь одолел бы.

– Чекалки?

– Чекалка – какой зверь! У нас большие волки водятся. Казаки из форта сказывают, – как у вас в России. На днях один у нас убил рысь, а прошлую ночью самка подходила к деревне, кружила около баранты. Наш Дмитри палил по ней, ранил... пошел теперь по крови искать следа... Вот он сам идет...

Подошел Димитри – молодой стройный парень, оборванец с очень недурной двухстволкой за плечами. Завязался быстрый разговор по-грузински, да еще на горном наречии; я мало что понимал.

– Нашел Димитри рысь, – обратился ко мне староста по-русски, – сдохла. Под лопатку пуля пошла. Диво, как ушла она в лес живая.

– У рыси шкура такая, – возразил Димитри – она не дает крови сильно течь, затягивает рану. Если рысь сразу не упала, у нее всегда хватит силы добраться до своего места.

– Шкуру драл? – спросил староста. – Вот господин купит.

– Нет. Что драть? ❖ гнилой зверь. Полдня на солнце пролежал, – никуда не годен. Мех – как пух – лезет и к рукам пристаёт... Батоно [39], – обратился ко мне Димитри, – я и котят нашел... купи котят!

– Где же они?

– В норе. Вместе брать их пойдем.

❖ А сколько их?

– Почем знаю? один зверь, два зверь... Сколько зверь, столько абаз[40].

Отправились. Идя рощею, я удивлялся све-

жести этого заповедного леса: тут бы вековым дубам стоять, а не молодняку.

– У нас дерево недолго растет, – объяснил Димитри, – дереву земля нужна. У нас земли – аршин вниз, а дальше – камень. Корень найдет на камень и завянет, или прочь, на сторону, ползет. Встретит другой корень: либо сам пропадет, либо встречное дерево засохнет.

Мы пришли в глухой уголок. В носшибанул спиртуозный запах зверинца. Логовище рыси помещалось в углублении, под навесом мшистой серой скалы. Кабы не запах, – и не найти бы этого жилья: так хорошо прикрыли его частые ветки прислонившейся к скале молодой рябины. Димитри ткнул шомполом в углубление. Раздалось ворчанье – гневное, но пресмешное: каким-то ломанным, кадетским басом пополам с хриплым дискантом. Димитри надел на руку папаху, сунул в гнездо и быстро вытянул, точно рыбу на удочке, маленького котенка, уцепившегося за папаху когтями. Недоумение, гнев, испуг зверька – не подлежат описанию: эту уморительную мордочку надо видеть, чтобы постичь ее и оценить.... За первым котенком тем же самым

способом был выужен второй и последний.

От зверьков я, конечно, отказался: куда мне было их тащить пешком? Но скромную цену их я заплатил Димитри с удовольствием: спектакль диких зверят в родной им обстановке, на свободе, стоил побольше двух двугривенных.

Мы вернулись в деревню. Димитри сел на коня и помчался в Гудушаури:

– Там бек живет, – он у меня моих зверят купит... А ты, прохожий, подожди, не уходи, – гость будешь. Вернусь – барана резать будем, вина достану...

Я достаточно понахватался в обхождении с горцами, чтобы знать, что по этикету их гостеприимства позволительно внести чужому человеку в хозяйское меню, что – нет. Поэтому в вопрос о баране я и мешаться не стал, но, когда Димитри выехал из Сиона, спросил себе другую лошадь и потихоньку съездил в дукхан, на пол-дороге от Казбека, откуда и привез бурдюк вина – свою долю в предстоящем пиршестве.

Поили и кормили всю деревню, – по крайней мере, всех, кто не заночевал на ахалцих-

ской косьбе. Веселились и мужчины, и женщины: грузинки – а в особенности горянки – не дики и не чуждаются мужского общества, тем более, что, благодаря истинно-рыцарским нравам патриархальных горных захолустий, они в этом обществе настоящие царицы. Пали сумерки. Угасший дневной свет мы заменили кострами. Дух кизяка несколько отравлял обоняние, но – «маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию» – сказал философ. И долго еще у красных огоньков хлопали ладони в такт лезгинке – медленной горной лезгинке, с дробной выступью и бараньим топотом носков, долго раздавались песни, похожие на завывания, и завывания, похожие на песни. Староста и Дмитри переводили мне, чего я не понимал сам. Одна песня удивила меня своей отвлеченностью. К сожалению, я потерял её словный прозаический перевод, а в стихотворном, который я попытался сделать впоследствии, в Тифлисе, мне пришлось все-таки немножко «модернизировать» подлинник. Тем не менее, я предлагаю этот текст читателю: общее понятие об оригинальной, в осо-

бенности для полудикого грузина, песне он получит. Тема – тоска по родине горца, попавшего на юг, в счастливые сады Персии:

*Здесь звезды ласковые светят,
Не умирает здесь весна,
Здесь – полюби: тебе ответят!
Здесь – царство солнца и вина!
Здесь блещут молниями очи,
Полуприкрытые чадрой...
Здесь многопесенные ночи
Проходят дивной чередой.
Но дев прекрасных Гюлистана
Не веселит меня напев:
Мне снится горный край тумана,
Потока плач, метели гнев...
Сквозь песни юга – звуки рая —
Иные песни слышны мне:
Их пела женщина другая
Там, в этой дикой стороне.
О, сколько в них тоски и муки —
Что в чашу яду налито...
Не позабыть мне эти звуки,
Не променять их ни на что!...*

Полночь, подсказанная появлением Большой Медведицы над предгорьем Казбека, развела нас по саклям. Я ночевал у Димитри... Не

спалось. Душно было и вонюче. От храпа доброго десятка обитателей этого тесного приюта, можно было сойти с ума... Я выбрался из сакли и до рассвета просидел на крыше сакли, начинавшейся ярусом ниже, почти от самого нашего порога, выжидая, когда позолотятся гребни убегающих вдаль от Сиона хребтов. Верхушка Сиона стала розовая... Утро пришло в горы. Осёл где-то далеко, в ущелье, приветствовал новорожденный день оглушительным криком...

Часом позже, я – освеженный после бессонной ночи и вчерашней пирушки мискою мацони[41] – уже бодро шагал в Коби. Солнце пекло, кузнечики трещали. Ветер из ущелий дул порывистый, но теплый: точно неуклюжая ласка слишком сильного человека. Впереди грозно хмурились под шапками сизых туч горы Цихэ, как зовут их грузины: башни-горы главного хребта... Весело и хорошо становилось. В душу просился восторг, ум охватывало очарование пустыни – то настроение, каким полон был поэт-странник, когда хотелось ему благословить от полноты сердечной:

*И одинокую тропинку,
По коей нищий я бреду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!...*

Старый муж – грозный муж

*Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны,
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны;
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.*

Пушкин

Тамара Дзнеладзе, крестьянская девушка из небольшого аула под Пасанауром, пошла с подругами на гору за орехами. Не прошло и часа, как подруги прибежали обратно в селение и с испугом объявили, что Тамара сорвалась со скалы и теперь лежит полумертвая на старой гудамакарской дороге. Когда Тамару подняли, она еще была жива, узнала отца, мать, семилетнюю сестренку Нину и своего жениха Фидо, лучшего охотника пасанаурского околотка, богатого, хорошего крестьянина.

– Жизнь моя! душа моя! – плакал над невестой силач Фидо, – что же ты наделала? как же я теперь буду? на кого ты меня оставляешь?

Умиравшая посмотрела на него и перевела уже останавливающийся взор на маленькую Нину:

– Вот на кого... ❖ прошептала она, – женись на ней, когда она вырастет... Ты, Нина, выйди за него... Выйдешь?

– Выйду, – сказала Нина, которой Фидо всякий раз, как приходил в саклю Дзнеладзе, приносил либо пряник, либо игрушку; она его за это очень любила. Тамара улыбнулась и закрыла глаза с тем, чтобы не открывать их больше.

Девушку похоронили. Фидо же взял ружье на плечи, запер свое хозяйство на замок, повесил ключ на крест, свистнул собаку и ушел в горы. Редко с тех пор показывался он в деревне и ненадолго: проживет день-два, а там и опять пропадет месяца на три. Приходя в деревню, он всегда приносил семье Дзнеладзе подарки, присылал их и издалека, через чужих людей.

День в день спустя семь лет после смерти Тамары, Фидо в праздничном наряде появился в сакле её отца и потребовал, чтобы отдали за него Нину. Старый Дзнеладзе изумился:

– Бог с тобой, Фидо! Какой ты для нее жених? Уж и для Тамары ты был, если правду говорить, старенек, а с тех пор тебе прибавилось еще семь годов; Нина же теперь как раз в тамариных летах.

– Мне ее Тамара обещала, – угрюмо проворчал Фидо, – и она тогда согласилась, дала слово.

– Помилуй, Фидо! какое слово у семилетней?

– Что мне за дело? Я хочу ее в жены и возьму. Если ты откажешь мне, Михр, я буду врагом тебе на всю жизнь и назову семью твою клятвопреступной.

Дзнеладзе растерялся. Он не боялся вражды, но укор в клятвопреступничестве – тягчайшее обвинение, какое только может представить себе совесть грузина.

– По крайней мере, позволь мне подумать, Фидо, я посоветуюсь с батюшкой,

Получив такой ответ, Фидо тотчас же по-

шел во двор к священнику.

– Смотри, отец! – сурово сказал он, – если ты вздумаешь говорить против меня, когда к тебе придет Михо Дзнеладзе, то вспомни сперва, что у меня ружье хорошо стреляет. Ты человек бедный, и у тебя дети. Нехорошо им остаться сиротами.

Батюшка, после этих слов, как только увидел Дзнеладзе, замахал на него руками, прежде чем тот успел открыть рот:

– Убирайся от меня и с Ниной своей, и с Фидо своим!.. Когда столкнетесь, приходите, – я их перевенчаю, а до тех пор знать не хочу ваших дел!

Все старухи селения тоже оказались на стороне Фидо: по их мнению, завет умирающей – дело ненарушимое, как сама судьба.

– А вот я ее обвенчаю завтра же с каким-нибудь молодцом, так и узнаете вы, какое оно ненарушимое!.. ♦ озлился Михо,

– Венчай, но, если она обещана Фидо, то рано или поздно рук его не минует: их судьба связала.

До самого Тифлиса ездил Дзнеладзе за советами, пытая старых, мудрых, сведущих в

обычаях людей, и везде слышал одно и то же; судьба... судьба... судьба!

– Да что ты упрямишься? – убеждали его некоторые, – какого тебе жениха нужно? Мы Фидо знаем: не молод, но богат, честен, удалец. Чего еще хочешь? Разве девка уж так сильно не хочет идти за него?

– Нет, девка ничего, согласна... ❖ смущался Михо, – подарил ее, шайтан, побрякушками да ленточками... Нам со старухой жалко её молодости!

Кончилось, конечно, тем, что Фидо и Ницу обвенчали. Четырнадцатилетний ребенок стала женщиной. Фидо души не чаял в жене, но, как у большинства людей, видевших горе, испытавших жестокие потери в жизни, любовь его была сдержанною, затаенною и немножко мрачною. Он не совсем верил своему счастью и часто по целым часам сидел с суровым лицом, обдумывая, довольно несвоевременно: хорошо ли поступил он, настояв на своем из упрямства и под обаянием поздним огнем вспыхнувшей старческой страсти? Может ли любить его Нина, будет ли ему верна?

Фидо, поражался тем, что Нина, резвая и

веселая в родной сакле, в его доме стала вялою, побледнела, посмирнела, никогда не веселится и слишком много спит.

– Скучно ей со мною! – думал подозрительный старик и шел к тестю за советом, чем бы развеселить Нину? Но Михо, слушая зятя, только мычал неопределенно, сосал трубку, да поплеывал перед собою. Не мог же он сказать Фидо, как хотел бы:

– Поди, брат, вон на ту гору, где чернеют за церковью кресты, выкопай яму поглубже, ляг в нее и вели себя засыпать. Годика через два мы найдем твоей вдове хорошего молодого жениха, – с твоим состоянием ее кто хочешь возьмет! – и тогда она, ручаюсь, повеселеет!

Когда у Нины родился сын, молодая мать возилась с ним, как с игрушкой. Пеленать его, баюкать было для нее большим удовольствием и развлечением. Однажды, вздумав позабавить малютку, она вытащила для него из сундука свои детские куклы и... Фидо, войдя в саклю, застал ребенка-жену с жаром и увлечением играющей в эти куклы, между тем как некормленный младенец посинел от крика в своей позабытой люльке. Когда Фидо

прикрикнул на Нину, она не поняла, за что на нее сердятся, и со страхом посмотрела на мужа своими большими кроткими глазами.

«Недостает только, чтоб она начала меня бояться...» ♦ подумал Фидо.

Прошло года три. Нина подросла, поумнела, отчасти, похорошела, выучилась держать себя замужней женщиной, хозяйничать, ходить за детьми. Она дружила с соседками, любила поболтать, посплетничать о том, что Ваню любит Марико, и Марико – Гигу, и т. д. Иногда, за сплетнями, ей становилось несколько досадно, что она, не в пример красивее Марико, а прожила за старым мужем, не зная, как это любят молодые веселые Ваню, так приятно бренчащие на своих чунгури[42] и высоко заводящие свои пронзительные песни. На Нину многие исподтишка заглядывались, но для горца-грузина замужняя женщина – святыня; здесь не осетинские нравы.

Фидо чуял пробудившийся в Нине женский инстинкт и страдал глухо, но невыносимо. Он знал, что жена его невинна, но это мало его утешало; довольно было мысли, что отныне Нина в состоянии каким-нибудь

несчастливым случаем стать виновной, чтобы довести ревнивого горца до полного отчаяния. Если б Фидо узнал, что кто-нибудь ухаживает за Ниной, он убил бы дерзкого, как собаку, если б узнал, что Нина кого-нибудь любит... но об этом старик и думать не хотел, а лишь скрипел зубами, и, вращая страшными глазами, гладил дрожащею рукой свой дагестанский охотничий нож. Главным образом, Фидо тяготило сознание, что сам он лично слишком ничтожный оплот против опасности: любовь, если захочет, одним взмахом перенесет молодую женщину через обязанности к скучному, мрачному старику и бросит ее в объятия какого-нибудь бравого удальца. Он стал следить за Ниной, как прежде следил за лисицей в горах. Каждое слово её с мужчиной, каждая улыбка вызывали негодование Фидо. Начались сцены. Жена не понимала, чего хочет от нее муж, за что привязывается, бранит и, наконец, однажды даже ударил.

Когда это случилось, Фидо стал как безумный. Отняв руку от косы жены, он тяжело рухнул на пол сакли и долго лежал, закрыв руками красное от стыда и гнева лицо. Нина

всхлипывала, не смея громко рыдать, и более от страха, чем от обиды и боли: муж поучил жену... что же тут особенно позорного? Ведь всех соседок бьют время от времени мужья... Фидо встал. На нем лица не было.

– Слушай, Нина, – сказал он тихим голосом, – во всю свою жизнь, я никому не нанес оскорбления, а тебя ударил. Однако, я тебя люблю больше всего на свете. Во мне, должно быть джин[43] сидит. Я тебя так люблю, что, как подумаю о том, что ты не можешь отвечать такой же любовью, – я тебя ненавижу. Я знаю: ты, спасибо тебе, не изменила мне еще для другого, но непременно изменишь. Я не хочу видеть этого. Мне надоело жить Нина: я честный, прямой, добрый человек а из-за тебя я стал шакалом – хитрю, подсматриваю, придумываю всякое зло, бью женщину – и уже не могу перемениться, потому что я тебя люблю и тебе не верю. Противно мне; все надо мной смеются. Я убил бы себя, но после моей смерти ты непременно выйдешь замуж, а этому не бывать. Звал я тебя своею на этом свете, моею будешь ты и на том: нас поп венчал...

Нина с криком бросилась к дверям, потому

что рука Фидо протянулась к развешенному на стене оружию... Вслед ей грянул пушотлетный выстрел, пуля оцарапала ей плечо. Фидо, дикий и страшный, выскочил на улицу и погнался за убегающей женой, целя в нее из другого, неразряженного кремневого пушотлета... но вдруг выронил оружие из рук, зашатался и грянулся ничком в придорожную канаву.

Когда его подняли, он был уже мертв. Много любившее и много страдавшее сердце разорвалось, не выдержав напора, нахлынувших в него волн любви и ревности... Смерть эта, как всякая скоропостижная смерть, разумеется, наделала не мало хлопот смирным жителям селения...

Рассказала эту не очень давнюю историю мне та, кого я позволил себе назвать в ней ходочим грузинским именем Нины...

В царстве снов

*In die Traum und Zaubersphäre Sind wir,
scheint es, eingegangen.*

Goethe

Faust

А рагва переливается из Млетской[44] долины в Пасанаурскую, длинным и довольно узким ущельем, похожим на коридор. Горы здесь теряют ту наивную веселую прелесть, какую так искренне восхищают млетские холмы всякого путника, спускающегося к ним с высот Гудаура, и вместе с тем еще не приобретают торжественного величия, свойственного зеленым громадам Пасанаура. Если последовать примеру горцев, населивших каждую норку, каждую ложбину своих высот демонами-покровителями, то духом Млет надо было бы назвать резвого Ариэля, Пасанаур сделать столицей царственных Оберона и Титании[45], а ущелье между первыми и вторым, предоставить безалаберному услужнику Пуку[46]. Он или какой-нибудь другой веселый чёрт сильно похозяйничал когда-то в

этом коридоре: природа последнего – ряд скачков, непоследовательностей, контрастов. Линия берега Арагвы идет крайне неровно – то поднимается Бог знает на какую высоту, то спустится, чуть не в уровень с водой и ползет над ней серою, едва заметною полосой; здесь грозно висит бесплодный каменный обрыв, там почти что от самой реки начинается пологий подъем в несколько верст длиной, сплошь покрытый желтыми нивами; здесь, на необозримом пространстве голых черных скал и серого булыжника, некстати прилеплась крошечная рощица из десятка замечательно зеленых и свежих деревьев; там среди такого же необозримого пространства леса, еще более некстати, выставил свою плешивую голову скучный, кубышкообразный утес: его почва не поддается оплодотворению и упорно отвергает семена, которые щедро сыплет на нее молодой, здоровый лес. Падение Арагвы в ущелье весьма значительно; её красивые волны, смешавшие в своей глубине все разнообразие оттенков белого, голубого и зеленого цветов, похожи в этом месте на миллионную толпу школьников, отпущенных из

класса: одни играют, смеются, весело кричат, перекидываются снежной пеною, другие обиженно ворчат и сердито дуются, третьи лезут с дракой на встречные подводные камни и, потерпев поражение, ревут от стыда и боли, как недорезанные волки. И все это вместе сливается в общем стихийном шуме, нелепом, но могучем, беспорядочном, но бойком и бодрящем. Иные места посещаешь, чтобы любоваться ими: сюда ходишь из любопытства, не без надежды открыть какой-нибудь новый курьез, отпущенный природой на веки вечные и в самых колоссальных размерах, в поучение мимо путь держащего человечества. Один из поворотов ущелья особенно странен. Коридор расширяется. Правая сторона его, где вьется белая лента Военно-Грузинской дороги, поднимается не очень крутыми, но высокими, округленными террасами; если бы засыпать неглубоким слоем земли громадное здание романского стиля, получилось бы что-нибудь в роде контуров этой горы. Насупротив, далеко за Арагвой, в конце многоверстной широкой балки, виден другой засыпанный замок, но уже готического стиля. про-

странство между ними наполнено скалами, вылившимися в самые причудливые формы – иногда смешные, иногда страшные, всегда сильные, резкие, угловатые, никогда не изящные. К ним легко применимы слова Виктора Гюго об очертаниях облаков: «вы легко найдете в них Калибана, но напрасно будете искать Венеру». В них много беспорядка и разрушения. Можно подумать, что вся эта орда каменных гигантов, выбежала некогда из готического замка, с тем, чтоб обрушиться войной на замок романский, а исполинские пушки с террас последнего, рассеяли дикую толпу и лучших из нее уложили спать мертвым сном по ту сторону Арагвы. Над этою сумятицей скал, царствует гора с вершиной в виде трех звериных клыков, похожая на ослиную челюсть, заброшенную в поднебесную высь Самсоном после боя с филистимлянами.

Здесь-то, в этой полусказочной обстановке, и пришлось мне познакомиться впервые с одним из самых красивых призраков грузинского эпоса, с какими только приходилось мне встречаться. Не знаю, распространенное ли это предание или нет; быть может, оно да-

же не больше, как импровизация рассказчика: поэтический талант уделен небом жителям Грузии в редкостном изобилии, нигде не услышишь меньше преднамеренной лжи и больше безобидных фантазий. Но это не важно: импровизация человека из народа – тоже народное произведение; каждую сказку кто-нибудь сложил первый, каждую песню кто-нибудь первый пропел.

Дело было на Казбеке. Горец-грузин взобрался на значительную высоту, разыскивая горный хрусталь и медные самородки, – почти единственный промысел, вошедших в поговорку своею нищетой жителей подошвы Казбека. Разбив мотыгой большую шиферную глыбу, горец открыл вход в глубочайшую яму, а в ней обрел богатое месторождение металла. Углубившись в яму, горец с каждым шагом находил новые богатства. Гнезда горного хрусталя сверкали пред его глазами целым лесом граненых прозрачных башенок. Шаг еще, – и кругом засветились лиловые аметисты. Удар кирки, – и из-под почвы выглянула плита дымчатого топаза. Счастливый горец набил уже драгоценностями и мешок свой, и

пазуху, но все не может оторваться от работы и все глубже идет в землю. Яма сузилась и обратилась в тесную трубу, еще чаще усеянную самоцветными камнями. Горец был не из трусливых, влез в этот опасный проход и, пробираясь по нем, внезапно очутился в огромной светлой пещере. Здесь ему представилось странное зрелище. Он увидел алтарь исполинских размеров, сделанный из белого камня и увенчанный крестом. Тысячи неподвижных воинов, в тяжелых старинных доспехах, стояли на коленях пред алтарем, между тем как священник в полном облачении, такой же неподвижный, как и воины, простирал к ним благословляющие руки. Глубокое молчание царило в пещере, и все эти люди казались мертвыми, хотя и не тронулись тлением. С ужасом и благоговением вглядывался горец в оцепенелые черты таинственных витязей, когда самый старший из них медленно повернул к смелому пришельцу свою седобородую голову и, с ожившим взором, спросил голосом, похожим на гром далекого обвала:

– *Гана дро арис?*.. Разве уже время?

Эхо загрохотало по подземелью, на тысячи

голосов, повторяя вопрос. Старик, опираясь на меч, стал потихоньку подниматься с колен, руки священника дрогнули, а витязи пошевелились и забренчали оружием. При виде этих чудес, горец едва имел силы выговорить:

– *Джер ара...* Нет еще!

Глубокий вздох вырвался из груди старика, священник и воины ответили ему таким же вздохом, и снова всякая жизнь угасла в их странном собрании. Обезумевший от ужаса горец, чуть живой, покинул загадочную пещеру, и сам не помнил, как выбрался на свет Божий. Он, хоть и растерял с перепуга много собранных драгоценностей, однако донес до аула довольно, чтобы разбогатеть самому и обогатить свою родню. Но когда он захотел однажды снова пошарить в чудесной яме, то напрасно про искал ее целый день и вернулся с пустыми руками.

Когда я спросил рассказчика: кто же были витязи? грузин недоуменно посмотрел на меня и молча пожал плечами, очевидно не зная, что отвечать.

У затворников-воинов грузинской легенды есть много братьев на Западе – романском,

германском, славянском. Немцы прячут в Кифгейзере Фридриха Барбароссу, а в Оденберге – Карла Великого; сербы – где-то в герцеговинских кручах Марка Кралевича; мадьяры – в Карпатах короля Матьяса; чехи – в горе Бланике, близ Табора, воеводу Венцеля. Бретонцы и шотландцы рассказывают нечто подобное про короля Артура и рыцарей Круглого Стола, швейцарцы – про трех основателей народного союза. Каталонцы не верят в смерть своего последнего властителя дона Хайме, черногорцы – Ивана Черноевича, норвежцы – Олафа Краснобородого, датчане – конунга Канута. Все эти живые мертвецы – любимцы народной фантазии – для нее, вместе с тем, и заступники своей страны. Они выступают из своих убежищ в тот решительный момент, когда отечеству их будет грозить последняя степень опасности от врагов внешних и внутренних, управят дела родины, водворят мир и порядок, и затем, свершив свое предназначение, со спокойным духом отойдут к праотцам. Есть что-то несказанно возвышенное и могучее в этой трогательной детской вере темных людей в справедливость,

уклонившуюся от мира, но не исчезнувшую из него, закопанную в могиле, но не умирающую, спящую, но чуткую и готовую проснуться. Я не достаточно знаком с историей Грузии, чтобы осмелиться на предположение, кому мой рассказчик отвел могилу в безднах Казбека, – счастливому ли герою старины Давиду Возобновителю, несчастному ли представителю ближайшей к нашим дням эпохи ♦ Ираклию II[47], или еще другому какому-нибудь славному деятелю грузинского прошлого. Но люди сведущие, вероятно, не затруднятся осветить симпатичную легенду блеском подходящего к случаю исторического имени. Мое же дело – передать только то, что я слышал, и в том виде, как слышал[48].

* * *

Примечания

1

Сегидилья (испан. seguidilla) – испан. нар. танец. Сопровождается пением.

[^^^]

2

Канцонетта (итал. *canzonetta* – песенка, уменьшительное от *canzone*) – в кон. 16–17 вв. род небольшой многоголосной вок. пьесы, лёгкой и подвижной, часто танц. характера.

[^^^]

3

Баркарóла (от итал. barca – «лодка») – народная песня венецианских гондольеров; характеризуется умеренным темпом и метром 6/8, напоминая плавное покачивание на волнах.

[^^^]

В тексте имеется авторская пометка: «Записана близ Battipaglia».

[^^^]

5

Маремма (итал. Maremma) – географическая область в итальянской области Тоскана, полоса низменных, ранее заболоченных участков на западном побережье Апеннинского полуострова (Италия). Наиболее значительный город – Гроссето.

[^^^]

Обработка легенды моя, но основу её сообщил мне один англичанин-корфиот, врач по профессии. Он лечил когда-то покойную императрицу Елизавету Австрийскую. Об её пребывании на Корфу см. мой сборник «В моих скитаниях» (2-е изд. 1907 г.). По уверению англичанина, он слышал легенду о Золотой Планете от императрицы, в виде стихотворения в прозе, а Елизавета говорила, что записала легенду со слов туземной девушки. А. В. А. 1907 г.

[^^^]

Поп Иван (Пресвитер Иоанн) – легендарный глава какого-то азиатского теократического государства, легенда о котором была распространена в средние века. О нем упоминает Марко Поло. Власть его вошла в поговорку. У Шекспира Бенедикт. («Много шума из ничего») берется сходить к Попу Ивану за волоском из его бороды, только бы не разговаривать с Беатриче.

[^^^]

Отдаленный вариант этой наивной легенды представляет собой литовское предание о Блинде – вербе.

[^^^]

Мельница; ветряк – ветряная мельница;
люлька – трубка; запаска – часть старинного
женского костюма в Малороссии.

[^^^]

10

Скаженный – шальной, сумасшедший.

[^^^]

Безобразник.

[^^^]

12

Катовой души вира – брань; кат – палач.

[^^^]

13

Балабушта – хозяйка; талас – молитвенная мантия у евреев.

[^^^]

Пруд.

[^^^]

Безрукавка; квартух – фартук; намисто (монисто) – ожерелье с крупной монетой.

[^^^]

Пруд; криница – колодезь.

[^^^]

Плеона́зм (от др. – гр.: πλεονασμός – излишний) – такой оборот речи, в котором повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значению.

[^^^]

Охотники на горного тура. (Прим. ред.).

[^^^]

Цитата из пьесы Мольера «Проделки Скапена».

[^^^]

См. очерк «Между жизнью и смертью».

[^^^]

Стефан-Цминда (или Цвинда-Самеба) – старинная церковь грузинской архитектуры на горе Квенем-Мты (7673 фута над уровнем моря)

[^^^]

Давид.

[^^^]

Человек, малый, молодец.

[^^^]

Обувь с соломенной подошвой, перетянутою ремнями.

[^^^]

Гора Семи Братьев. Одноименная, но совсем другая гора видна с Гудаурского спуска к Млетам. Их не следует смешивать.

[^^^]

Мелкий скот: овцы, козы.

[^^^]

Чекалка \blacklozenge то же, что шакал.

[^^^]

Мама – по груз. отец, дзагла – собака.

[^^^]

По-татарски – свинья.

[^^^]

Грузинские имена, встречающиеся в рассказе: Матико – Марфа, Като – Екатерина, Сандро – Александр, Васо – Василий.

[^^^]

Ущелье и деревушка Бандзури, на левом берегу Арагвы, в глухой местности Душетского уезда, между станциями Ананур и Пасанаур Военно-Грузинской дороги.

[^^^]

Этот госпиталь, ныне уже упраздненный, стоял в живописном Гудумакарском ущелье, из которого вырывается Черная Арагва, двумя верстами ниже, в Пасанауре, сливающаяся в одну реку с Белою Арагвой.


[^^^]

Лобио – фасоль; горцы питаются лобио круглый год; это их обычная пища в будни.

[^^^]

Генацвали – душа моя.

[^^^]

Империял  верх экипажа, дилижанса

[^^^]

Скорей!

[^^^]

Берегись!

[^^^]

Владикавказ.

[^^^]

Барин.

[^^^]

Двугривенный.

[^^^]

Кислое молоко

[^^^]

Грузинская балалайка.

[^^^]

Злой дух.

[^^^]

Млеты, Пасанаур – станции Военно-Грузинской дороги – первые по направлению к Тифлису, после знаменитого Гудаурского перевала чрез Главный Кавказский хребет (между Коби и Гудауром).

[^^^]

Ариэль, Оберон, Титания – горные духи, персонажи пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». (Прим. ред.).

[^^^]

Пук или Пэк (англ. Puck) – в фольклоре фризов, саксов и скандинавов – лесной дух (ср. леший у славян), пугающий людей или заставляющий их блуждать по чаще. (Прим. ред.).

[^^^]

Давид Возобновитель – гениальный царь грузинский XI века, причислен к лику святых; Ираклий II – предпоследний царь грузинский (1798); правление этого высокоталантливого, и несчастного государя было рядом ударов судьбы.

[^^^]

Ср. конец рассказа «Черный Всадник».

[^^^]